

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА Ш. МОРРАСА

Политическая доктрина лишь отчасти определяет практику даже у тех деятелей, которые вообще обращались к теории; догматиков чаще всего наказывает жизнь. Доктрина притязает на истинность, действие политика должно быть эффективным. Разумеется, жизнеописание ученого или художника также включает в себя события и конфликты, в нем также говорится о деяниях, ибо история была и остается *gestae*. Однако посмертная слава ученого почти не связана с тем, как оценивали его современники, тогда как о политиках мы судим прежде всего по тому, чего они сумели добиться. Рассказывая о Т. Море, Ф. Бэконе или Г. Болингброке, мы можем практически не принимать во внимание то, что они поднимались на вершины власти, а затем терпели крах; поэзия Державина ценится нами вне всякой связи с тем, что одно время он занимал высший государственный пост.

В то же время о Кромвеле и Наполеоне, Муссолини и Ленине историки вообще берутся писать только по той причине, что они хотя бы на время преуспели в реализации своих политических проектов. Вместе с католической церковью Галилея осуждало подавляющее большинство современников, что никак не сказывается на дальнейшей судьбе его физики, не преуспевший в свое время политик чаще всего нам просто не известен. Доказательством того, что политик сумел выразить *Zeitgeist*, является его успех или хотя бы героическая гибель во имя того, что мы сегодня считаем *нашей* исторической реальностью. Вопрос заключается в том, как быть с теми, кто проиграл, ибо стремился остановить «прогресс», придать истории совсем иное направление. Если они не забыты, то зачастую предстают как злодеи - реакционеры, мракобесы, даже «враги рода человеческого», хотя они были врагами именно того, что нес с собою этот «прогресс», который Т. Манн однажды иронически

назвал (с понятной отсылкой к Ницше) «прогрессом от музыки к демократии».

Шарль Моррас принадлежит к тем политикам, которые проиграли и были осуждены если не «историей», то судом его сограждан. В январе 1945 г. начался процесс над восьмидесятилетним стариком, которого обвиняли в коллаборационизме, в доноситечестве на деятелей Сопротивления и т.д. Прокурор требовал смертной казни для того, кого победившая сторона считала главным идеологом вишистского режима. Правда, за восемь месяцев суда обнаружилась полная несостоятельность обвинения. Моррас был автором многочисленных статей, осуждавших коммунистов и голлистов, но не написал ни одного доноса, а также ни строчки с призывом к сотрудничеству с оккупантами; он не только не сотрудничал с режимом Лавалея и Деа, но находился с ними в непрерывном конфликте - им были написаны и многочисленные статьи против коллаборационистов (они, правда, не были пропущены цензурой). Даже едва не удавшееся покушение на этих лидеров коллаборационизма было совершено одним из членов организации Морраса «Аксьон франсез». Да, он поддерживал маршала Петэна, но на 1940-1941 гг. его поддерживали почти все французы; да, он считал, что проигравшая войну Франция не должна выступать ни на стороне Германии, ни на стороне Англии в их борьбе за мировое господство. К тому же французский флот был расстрелян английским в Тулоне, а английские самолеты бомбили Париж. В секретном докладе немецких спецслужб (который суд отказался приобщить к делу, ибо противоречил всей версии обвинения) Моррас был назван одним из главных врагов Рейха во Франции.

Процесс над Моррасом был не уголовным, но политическим. Его судили как политического врага, который полвека вел борьбу с «левыми» в целом, с республиканским режимом, с либерализмом и парламентаризмом, с «Декларацией прав человека и гражданина» - со всей той Францией, которая считала своими «принципы 1789 года». Был и еще один момент: сам Моррас назвал приговор к пожизненному заключению «реваншем Дрейфуса». Это замечание точно не только потому, что Моррас был антисемитом, не только потому, что его политическая карьера началась со статьи «Первая кровь» в 1898 г. во время «дела Дрейфуса». Морраса судили в соответствии с теми принципами, которых он сам придерживался: Дрейфус для него мог быть и невиновен, но политиче-

екая целесообразность требовала, чтобы приговор не пересматривался. Так как победу одержали политические противники, то такого рода целесообразность закономерно превращала Морраса во «врага народа». В известном смысле он и был таковым на протяжении всей своей деятельности, поскольку во Франции не было другого столь влиятельного и последовательного противника демократии. Даже если аргументы обвинения были слабыми, за ним было право победителя судить побежденного. Да и было за что: всю свою жизнь ненавидевший немцев Моррас прямо никак не сотрудничал с ними, но его статьи с требованиями сурово карать участников Сопротивления объективно помогали оккупантам. Да, в 1940 г. Петэна поддерживало большинство французов, включая и множество будущих деятелей Сопротивления, но в 1943 г. ситуация была совсем иной. «Интегральный национализм» Морраса вступил в конфликт с чаяниями большей (и лучшей) части нации.

Моррасу позволили умереть не в камере, а на больничной койке. Перед смертью он примирился с католической церковью. Хотя в тюрьме он написал несколько книг и десятки статей, умер он в неизвестности - его идеи устарели настолько, что на него уже не ссылались впоследствии даже ультраправые, вроде Пужада или Ле Пена. Сразу после смерти оставшиеся последователи выпустили четыре тома «Главных трудов» (*Oeuvres capitales*, P., Flammarion, 1954), отобранных самим Моррасом в качестве своего наследия. В дальнейшем они не переиздавались - спроса на монархическую «идею» во Франции нет (а сохранившиеся роялисты в 1980-е гг. поддерживали социалиста Миттерана).

В создаваемом «левой» прессой общественном мнении Моррас предстает как творец французского фашизма. Впрочем, левые вообще склонны применять ярлык «фашизм» ко всем тем, кого они желают дискредитировать. Хуже то, что единственное серьезное исследование идей Морраса, принадлежащее немецкому историку Нольте (в его книге «Фашизм в свою эпоху»), прямо относит его даже не к провозвестникам фашизма, но к его теоретикам и практикам, наряду с Муссолини и Гитлером. Независимо от последующих трудов Нольте, в которых за приход Гитлера к власти стал нести ответственность Сталин, он уже в этой работе решал не слишком благодарную задачу: релятивизировать национал-социализм, сделать его одним из «феноменов» эпохи «европейской гражданской войны, причем феноменом «трансполитическим» -

сущностью фашизма было объявлено «сопротивление трансценденции», а тем самым всякое противостояние либеральной демократии с консервативных националистических позиций оказалось у него ведущим к фашизму. Более того, великолепное владение историческим материалом и философская выучка служат у Нольте косвенному оправданию немецких элит, возобновлению той популярной сказки, будто выбор у немцев был только между коммунистами и нацистами, и выбрали они Гитлера как «меньшее зло». Моррас был консерватором, роялистом, т.е. «реакционером» с точки зрения либералов и социалистов. Но с точки зрения «белых» фашизм и коммунизм равным образом представляют собой «диктатуру сволочи», как определил эти два режима близкий Моррасу по духу русский монархист Солоневич. В апологии Моррас не нуждается, его политические воззрения и деятельность требуют непредвзятого рассмотрения.

Шарль-Мари-Фотиус Моррас родился 20 августа 1868 г. в Мартиге, большой рыбацкой деревне на одном из островов в устье Роны. Несколько поколений его предков по отцовской линии были сборщиками налогов, этим занимался и его отец. В провинциальных городках и деревнях того времени эта профессия означала довольно высокий статус и относительную независимость. Дед с материнской стороны был мэром этого большого селения, т.е. семья Моррасов принадлежала к более или менее зажиточному и образованному слою провинциальной мелкой буржуазии. Эта социальная принадлежность сказывалась уже на языке общения: на Юге Франции буржуа и их дети говорили на французском, а не на провансальском языке. Моррас по-настоящему выучит провансальский не дома, а в Париже, когда станет активным участником «Фелибриж», землячества выходцев из Прованса.

Семейная ситуация Шарля Морраса была характерной для Франции тех лет: отец был либералом и вольтерьянцем, мать - чрезвычайно набожной католичкой. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, не умри его отец в 1873 г. Скорее всего, он получил бы образование в республиканском лицее, а тем самым его жизнь получила бы совсем иное направление. Но он, проучившись три года в деревенской школе в Мартиге, был отдан не в светскую школу, а в католический коллеж в Эксе. Он давал соответствующее духовной семинарии образование, но для тех, кто не собирав-

ся становиться священниками, предлагалось и превосходное образование по программе государственного лицея. Поэтому в нем учились выходцы из местной элиты, которую со времен Революции называли blancs du Midi - «белые Юга», имея в виду, разумеется, не цвет кожи, но верность монархии и церкви. «Красными» для них были все наследники Революции, будь то либералы, бонапартисты или социалисты. Моррас был сформирован этой средой, этими ценностями французских легитимистов, которые даже в Орлеанской династии видели предателей монархической идеи. Патриотический культ Жанны д'Арк (которая все же была сожжена церковью как еретичка) сочетался здесь с католицизмом людей, непримиримо враждебных республике и всему наследию Просвещения. Франция для них была создана монархами, Орлеанская Дева помогла Капетингам в борьбе с ненавистными чужеземцами; католическая Франция - «старшая дочь церкви» - потерпела поражение в 1871 г. от протестантской Германии именно потому, что предала забвению свое великое прошлое. Таков круг представлений людей, которые окружали Морраса в детстве и в юности. Когда он впоследствии писал в «Исследовании монархии», что пришел к роялизму путем рационального рассуждения, то говорилось это не из чисто пропагандистских соображений. Мистическую доктрину королевской власти Моррас утратил вместе с христианской верой, однако рационально он обосновывал те принципы и ценности, которые были буквально впитаны им в Эксе.

В коллеже будущую элиту учили превосходные педагоги; то, что здесь, в отличие от лицея, изучали еще Августина и Аквината, не мешало основательному изучению греческой и латинской классики, французской литературы, философии. Моррас вскоре стал лучшим учеником, причем с весьма раннего возраста стал проявлять интерес к произведениям авторов, которые были строжайшим образом запрещены в коллеже, в том числе романам Золя, «Цветам зла» Бодлера или «революционной теократии» христианского социалиста Ламенне. Одна книга сыграла в его жизни огромную роль - «Мысли» Паскаля. Будучи еще совсем молодым человеком, Моррас обнаружил, что описание удела человеческого в «Мыслях» совершенно правильно, но из него совсем не следует та апология христианской веры, которую попытался вывести из него Паскаль.

Моррас не собирался становиться священником, более того, несмотря на свои блестящие успехи в науках, он вообще не думал становиться ученым или писателем, но хотел стать моряком. Все планы рухнули в 14 лет, когда весной 1882 г. он неожиданно почти полностью оглох. Пока кто-то четко говорил прямо перед ним, он неплохо различал звуки, но даже речь преподавателя в небольшом классе расплывалась в набор непонятных шумов. Иначе говоря, даже с программой коллежа он не справился бы, если бы не помощь одного молодого преподавателя, взявшегося за индивидуальное репетиторство. Закрытыми для Морраса оказались и мореплавание, и любая деятельность, предполагавшая обучение в университете или любом другом высшем учебном заведении.

Сильным характером и тем, что Платон назвал «яростным началом души», Моррас обладал уже в юности. Он настойчиво учится, причем помимо неизбежно ограниченной программы по философии католической семинарии изучает труды таких философов, как Беркли, Юм, Кант, Шопенгауэр - вот круг его чтения в 15-17 лет. Утрата религиозной веры, произошедшая в это же время, радикальный скептицизм, переходящий в нигилизм, приводят его в весьма раннем возрасте к философским умозрениям, сходным с волюнтаризмом Ницше, которого он прочтет только через пару десятилетий. Отличия между ними несомненны - хотя бы потому, что Ницше был гениальным философом, тогда как Моррас в области «чистой» философии оставался дилетантом. Но к основным политическим своим идеям он пришел через философию и преодоление нигилизма. Если в мире нет божественного промысла и благодати, если миры возникают и гибнут (эту мысль Лукреция он освоил еще подростком), если хаос иррациональных влечений в душе предшествует разуму, то возможны два диаметрально противоположных вывода: либо дать этим разрушительным силам волю, либо встать на защиту упорядоченного социального космоса, навести порядок в душе - тогда гармоничным и прекрасным будет и внешний мир, который для прошедшего через школу Юма, Канта и Шопенгауэра являлся лишь проекцией наших представлений.

Поэтому самую яростную борьбу Моррас будет вести с родственными ему по духу поэтами и философами, которые сделали противоположные выводы. Их он будет называть «романтиками», имея в виду не только исторически существовавший романтизм начала XIX в., но также всех «проклятых поэтов», декадентов,

анархистов. Подобно Ницше, он станет противопоставлять эллинизму христианству, но восхвалять в античности он будет аполлоновский свет, а не дионисийство. Из античных божеств ему совершенно чужды Дионис и Прометей, а поклоняться он будет Минерве (Афине), богине разума, меры, гармонии. Хотя у Платона и Аристотеля он находит прежде всего критику демократии, но философский интеллектуализм будет служить ему в эстетике, где апология классических образцов искусства будет сочетаться с суровым осуждением романтизма и декаданса.

Художественное творчество и эстетика Морраса заслуживают особого исследования; он был неплохим поэтом и замечательным прозаиком, тонко передающим прежде всего красоту природного мира. Его долгое время не избирали членом Французской Академии только из-за его политических пристрастий и избрали в 1930-е гг. несмотря на одиозность для многих академиков его деятельности в «Аксон франсез». В его художественном творчестве, в литературной критике и даже в жизни есть целый ряд параллелей с П. Валери, который тоже был выходцем с Юга, тоже мечтал стать моряком, тоже приехал в Париж в юности и был вынужден годами заниматься далекой от творчества работой ради прокормления. Сходными являются некоторые эстетические принципы и даже консервативные выводы из радикального скептицизма: хрупкость цивилизации заставила Валери признать необходимость традиции со всеми ее «предрассудками». Но Моррас был не только писателем, политика вошла в его жизнь в юности и никогда не переставала быть истинной его страстью.

История жизни Морраса настолько переплетена с III Республикой, что нужно сказать хотя бы несколько слов о том, что толкало молодого и способного человека в лагерь непримиримой оппозиции. В начальный период этой республики, сразу после поражения в войне с Пруссией и подавления Парижской Коммуны, монархисты составляли чуть ли не большинство в Национальном собрании, а президент Мак-Магон вполне мог сыграть роль генерала Монка и вернуть стране монархию. Собственно говоря, влиятельные круги готовили в это время возвращение короля, последнего представителя прямой линии Бурбонов. Эти планы были сорваны республиканцами, граф Шамбор так и не стал «Генрихом V Благословенным» и через десять лет умер не оставив потомства. Республиканцам помогало то, что три «семейства» французских мо-

нархистов - легитимисты, орлеанисты, бонапартисты - не могли найти согласия. Но немалая часть французской буржуазии в это время возвращается в лоно католической церкви, страх «коммуны» толкает ее к консерватизму. Борьба между радикалами и консерваторами в буржуазном лагере сказывается на политике по отношению к церкви. Когда Моррас учился в старших классах коллежа, началась первая кампания пришедших к власти радикалов: «закон Ферри» о светском образовании, закрытие монашеских орденов и конфискация их собственности были актами политической борьбы и велась она от имени «идей 1789 года», т.е. тех принципов, которые изначально отвергались Ватиканом.

При власти «умеренных», таких как президенты Фор или Карно, католическая церковь получала передышку, а монархисты в парламенте поддерживали консервативных республиканцев. Партия радикалов была не просто антиклерикальной наследницей Революции, все ее вожди были к тому же масонами - под контролем масонских лож в это время находилось назначение префектов в провинции, а те умело использовали «административный ресурс» для выборов нужных депутатов. В условиях республики очень быстро выяснилось, что великие принципы - Свобода, Равенство, Братство - служат удобным прикрытием для власти денег.

Разразившийся в 1889 г. финансовый скандал обогатил экономический словарь названием страны «Панама»; он разорил 800 тыс. вкладчиков при активном взаимодействии нечистых на руку дельцов (то, что некоторые из них были евреями, привело к волне антисемитизма) и депутатов от радикальной партии. Были и другие скандалы вроде «дела Вильсона» (родственник президента приторговывал орденами Почетного легиона), которые вызвали в итоге массовое буланжистское движение, образование националистической «Лиги патриотов» во главе с Деруледом. Толпы, кричащие на улицах: «Долой воров!», массовое недовольство коррумпированной республикой в то время никоим образом не вдохновлялись идеей восстановления монархии. Напротив, при известной поддержке генерала Буланже бонапартистами, его движение мобилизовало левых: влиятельное крыло в нем представляли бланкисты (в том числе некоторые бывшие коммунары). Именно они сделали антисемитизм частью политической программы буланжизма (сам генерал антисемитом не был и его чуждался). Некоторые ис-

следователи (прежде всего, пишущий по-французски израильский историк Зеэв Штернхел) видят в этом движении первые проявления европейского фашизма, а в писателе и политике Морисе Барресе - первого идеолога фашизма, пусть с той оговоркой, что в дальнейшем Баррес эволюционировал к умеренному почвенническому консерватизму.

На наш взгляд, такого рода аналогии не менее поверхностны, чем обнаружение «фашизма» в текстах Ницше, Достоевского или Розанова. Убедительное доказательство того, что антисемитизм во Франции появился на «левом» фланге (первый антисемитский трактат был написан сен-симонистом еще в 1845 г., Прудон был первым, кто написал о необходимости либо поголовного изгнания евреев из Европы, либо их уничтожения), еще не равнозначно доказательству того, что этот антисемитизм имеет хоть какое-то отношение к фашизму. Не говоря уже о том, что итальянский фашизм первоначально вообще никак не был связан с антисемитизмом (и было немало число фашистов-евреев), такого рода исторические штудии выполняют известную идеологическую функцию: всякий протест против плутократии, всякий популизм в сочетании с национализмом (в особенности, если присутствует и антисемитизм) получают ярлык «фашизм» и дискредитируются. При этом забвению предается один немаловажный факт в генеалогии фашизма: отряды чернорубашечников Муссолини финансировались олигархами именно потому, что они громили социалистические кооперативы и муниципалитеты, а Гитлера привели к власти думавшие его «приручить» рурские магнаты. От того, что в 1793 г. революционные деятели в Париже обсуждали помимо всего прочего вопрос о хозяйственном использовании волос и кожи уничтожаемых вандейцев, мы все же не относим Сен-Жюста к основоположникам национал-социализма.

Вернемся, однако, к молодому Моррасу, который завершил обучение в коллеже в 1885 г. В последний год учебы он написал большую статью о Фоме Аквинском, которая была опубликована в серьезном журнале «Анналы христианской философии» - из него пришло письмо с пожеланием дальнейших публикаций. Католические связи помогли глухому юноше стать журналистом в Париже. С 18 лет он живет на гонорары, пишет по две-три статьи в неделю для различных изданий. Бульварным журналистом Моррас никогда не был, он писал статьи о литературе, науке, философии и, ко-

нечно, о политике. Сегодня, когда в 18 лет большинство выпускников школы изумительно инфантильны, может только поражать карьера молодого человека, уже изучившего Аристотеля и Канта, зарабатывающего средства на жизнь эстетическими и политическими статьями. Эта деятельность была великолепным дополнением к классическому образованию: не получив университетского диплома, Моррас обладал незаурядными познаниями во многих областях - от «русского романа» до работ по физиологии головного мозга и палеонтологии. Мешало лишь слабое знание иностранных языков, но Моррас и не желал учить «варварские» наречия, вроде немецкого или английского, а родственные романские языки не представляли трудностей при чтении и не изобиловали текстами, которые Моррас не мог бы прочесть в переводе.

В начальный период журналистской деятельности происходит одно важное для мировоззрения Морраса событие: он открывает для себя труды Конта и других позитивистов. Позитивная наука имеет дело с фактами, рациональное познание организует опыт, любая метафизическая гипотеза должна верифицироваться эмпирическим знанием - эти принципы позитивизма Моррас станет применять в социологии и политике, а собственную доктрину он иногда будет именовать «организующим эмпиризмом». В критике демократии его излюбленным аргументом станет указание на метафизичность таких идей, как «общественный договор» или всеобщее равенство. К позитивизму примыкал и такой мыслитель, как Ле Пле, социальный консерватизм которого был направлен на решение «рабочего вопроса». С трудами таких «классиков» эпохи Реставрации, как Де Местр и Бональд, Моррас познакомился еще в коллеже; теперь он осваивает труды тех мыслителей, которые сами прошли путь от либерализма к консерватизму - Тэн и Ренан важнее для Морраса, чем католические авторы.

Политическая деятельность Морраса начинается с весьма важного для понимания его доктрины момента: отстаивания автономии французских провинций, децентрализации. Еще Токвиль в «Старом порядке и революции» писал о том, что французская революция была наследницей абсолютизма, поскольку лишила провинции всех прежних прав; империя лишь упорядочила административный контроль. Моррас был провинциалом, причем выходцем из тех краев, которые дали слову Provence абстрактное значение. Провансальцы доныне помнят о богатстве и высокой культуре

Лангедока - до Крестового похода с Севера во главе с Симоном де Монфором катарская ересь была лишь предлогом для «грабителей с Севера». Правда, не будь этого похода, Франция вряд ли сделалась бы единым королевством, хотя бы потому, что провансальский язык, в отличие от диалектов собственно французского (patois), значительно ближе каталанскому.

Для французского националиста-Морраса проблема решалась просто: провансальцы были для него самыми «почвенными» из французов, да еще прямыми наследниками античного мира, причем не столько римлян, сколько колонистов-греков, прибывших в эти земли на полтысячелетия раньше римлян. Напомним, что современный Марсель - это Массилия, основанная фокейцами примерно в 600 г. до н.э. Первое поселение на месте родного для Морраса Мартига было греческим: археологи нашли там эллинское кладбище IV в до н.э. Хотя знания провансальского были у Морраса в то время довольно слабыми, в 1888 г. он принимает участие в конкурсе на лучшую работу о поэзии Теодора Обанеля, с которого началось возрождение литературы на провансальском. Неожиданно для самого себя он получает первую премию и входит в соприкосновение с культурно-просветительской ассоциацией «Фелибриж». Это землячество не имело никаких политических притязаний, в нем спокойно сосуществовали монархисты, республиканцы, социалисты - поэзию Мистрала и родную кухню можно ценить при любых политических взглядах. В 1889 г. Моррас становится одним из секретарей землячества и главным редактором его газеты.

Именно участие в деятельности «Фелибриж» привносит в мировоззрение Морраса идеи почвы и расы. Было бы в высшей степени антиисторично считать всех тех, кто в конце XIX в. расширительно толковал термин «раса» законченными расистами. О расах рассуждали и такой демократ, как Мишле, и социалист Жорес. К расовой теории чрезмерно часто прибегали и ученые мужи: достаточно вне исторического контекста просмотреть тексты основателя социальной психологии Ле Бона, чтобы сделать вывод о «расизме»¹. Моррас негативно относился к теориям Гобино уже

¹ Расовая теория в то время ещё могла считаться научной, к ней прибегали и те, кто никак не был «расистом». Автор монументальной книги «Империя царей и русские» А. Леруа-Болье обосновывает в то время со-

потому, что для того белокурые феодалы-германцы представляли собой высшую расу в сравнении с потомками кельтов. Хотя ничего подобного немецкому Rassenlehre (с его неповторимыми изысканиями на тему Rassenschande) у Морраса не было, элементы расизма ощутимы: противопоставление «людей латинской расы» и «северных варваров» связывается не только с культурным наследием первых, нечто существенное передается через «кровь». Однако «порода» является лишь одним из элементов целого, которое Моррас называл «цивилизацией». Расовую антропологию и социологию Моррас считал заблуждением, поскольку биология очень немногим может помочь историку и социологу. Родной язык, климат, почва, кровь, религия, искусство, обычаи и нравы - все они приносят нечто в цивилизацию.

Эта цивилизация находится под угрозой, она хрупка и может быть растоптана варварами. Таково убеждение Морраса с самого начала его деятельности, его он разделяет со всеми консерваторами. Варварами были и остаются германцы, варвары пробудились в

юз с Россией детальным подсчетом того, что в крови русских арийское наследство преобладает над финским; А. Фулье, который сам не чуждался расового детерминизма, в предисловии к своему труду о психологии французского народа писал: «Под влиянием политических предубеждений, сначала в Германии, а потом и во Франции, вопрос о национальностях смешивается с вопросом о расах. Отсюда получается своего рода исторический фатализм, отождествляющий развитие данного народа с развитием зоологического вида и заменяющий социологию антропологии. Писатели, превращающие таким образом войны между обществами в расовые войны, думают найти в этом научное оправдание права сильного в среде зоологического вида Ното. Некоторые антропологи, как бы находя недостаточной "борьбу за существование" между человеком и животными, между различными человеческими расами, между белыми и черными или желтыми, изобрели еще борьбу за существование между белокурыми и смуглыми народами, между длинноголовыми и широкоголовыми, между истинными "арийцами" (скандинавами или германцами) и "кельто-славянами". Это - новая форма пангерманизма. Даже цвет волос становится знаменем и объединяющим символом: горе смуглолицым! Войны, происходившие до сих пор, оказываются простой забавой по сравнению с грандиозной борьбой, подготовляющейся для будущих веков: "люди будут истреблять друг друга миллионами, - говорит один антрополог, - из-за одной или двух сотых разницы в черепном показателе"».

самой Франции - Моррас ежедневно проходил мимо руин разрушенного коммунарами дворца Тюильри. Наконец, наблюдая за жизнью парижской литературно-художественной богемы, к которой он, собственно говоря, принадлежал в то время как пишущий об искусстве журналист, он приходит к выводу, что цивилизации грозят и многие идеи. Страх толкает к мысли о необходимости насилия применительно к взбунтовавшимся варварам - хрупка человеческая жизнь, хрупка красота человеческих творений. Чтобы создать прекрасное, требуются огромные усилия, но чтобы разрушить, уничтожить, испоганить, нужны несколько вздорных идей, систематизированных фанатиком, и они превращают в ничто тысячелетнюю историю. Для консерватора прекрасны картины и дворцы, религиозные верования и народные обычаи, нации и государства. Все они неповторимо индивидуальны, а потому, как писал Моррас, «о цивилизации может рассказать только ее история». Приход варваров начался с идеей свободы и равенства, с идеала растворения всех наций в каком-то «едином человечем общечити». Уравнивание и выравнивание всех в болоте всеобщей терпимости (нетерпимы эти варвары только к своим врагам - «реакционерам») ведет к умиранию красоты, к исчезновению исторического многообразия человеческих и культурных типов - демократия и социализм представляют опасность для цивилизации.

Эта цивилизация сохранилась прежде всего в провинции. Хотя у власти находятся радикалы, большинство французов консервативны, они живут в деревнях и небольших городах, желают жить и умирать по обычаям предков. Но в их жизнь вмешивается бюрократический аппарат республики, централизация является орудием наследников кровавой и разрушительной революции, она способствует разложению и упадку традиционных институтов. Необходимо восстановление автономии провинций, которые сами могут позаботиться об образовании, безопасности, медицине, культуре, тогда как функции центральной власти должны ограничиваться защитой от внешнего врага. Как и легитимистское окружение в юности, Моррас представлял себе идеальную монархию совсем не по образцу абсолютизма Людовика XIV - от этого отошли уже идеологи Реставрации, члены «бесподобной палаты», видевшие образец в «свободной монархии» времен чуть ли не Франциска I (а то и Людовика IX). Участие в деятельности провинциального землячества подтолкнуло его к модернизации идеи со-

словной монархии. Применительно к реалиям конца XIX в. она стала выглядеть как «федерация французских республик», т.е. автономных провинций, передающих центру лишь ограниченные полномочия. Эти идеи сохраняются у Морраса на протяжении всей его политической карьеры.

Статьи об автономии провинций Моррас писал в то самое время, как возникало, набирало силу, а затем, после самоубийства Буланже, распалось первое массовое антиреспубликанское движение. Моррас в нем никак не участвовал, ничего по поводу этого движения не написал. Правда, на первых для него, как избирателя, выборах он проголосовал за кандидата-буланжиста (кстати, еврея), но темы буланжистской пропаганды его в то время совершенно не задевали: коррумпированный республиканский режим не улучшить на пути цезаризма, а Буланже был для него просто наследником бонапартизма, опиравшимся на те же ложные идеи 1789 г.

Моррас очень быстро столкнулся с тем, что даже сравнительно невинные статьи и деятельность в землячестве вызывают прямое вмешательство республиканских властей. Хотя среди членов «Фелибриж» большинство составляли blancs du Midi, под неприкрытым давлением префекта полиции Моррас должен был оставить свои посты. «Республика едина и неделима» - вот догмат республиканской веры, на который запрещено всякое покушение. Только о своей вере в этот догмат громче всего кричали именно те люди, которые были замешаны в «панамскую» аферу.

В 1890-е гг. Моррас пишет уже не только для малотиражных научных изданий и монархических газет, он становится литературным обозревателем в лучшем на то время журнале «Revue encyclopedique Larousse». Литературная критика подводит его к ряду политических тем. В отличие от большинства французских консерваторов, он не смешивал эстетику с морализаторством, не осуждал Золя за «порнографию», но писал о несостоятельности натурализма по чисто художественным критериям. То, что Моррас долгое время превозносил Мистрала и Мореаса, противопоставляя их Бодлеру, Верлену и Малларме, говорит не о дурном вкусе, но о продуманной позиции: классицизм для него есть наследие греко-латинской традиции, романтизм - эстетика нигилистического бунта. У Гюго, Готье и других «мэтров» французского романтизма он находит пренебрежение к форме, многословие, бесконечные описания. Он не отрицает их одаренности, равно как и несомненного поэтического таланта у Бодлера и Верлена, но считает, что роман-

тическая идеология мешала им обуздать душевный хаос - они выплескивали на страницы романов и поэм все, что приходило им на ум, считая работу над словом чем-то необязательным. Романтизм быстро выродился в сентиментальное чтиво для дам, и это еще не худший случай, поскольку прометеевский бунт романтиков отрицает все сущее от имени своеволия, которое на собственный лад определяет добро и зло (или вообще находится «по ту сторону добра и зла»). Романтический герой то меланхоличен, то неистовствует, но всегда стоит за пределами закона и морали. Французские романтики не только «открыли» маркиза де Сада, но и предавались истинному сатанизму. «Бунт облачается в траур и красуется на театральных подмостках, - писал впоследствии Камю. - Кровавая мелодрама и черный роман празднуют свой триумф»¹. Для агностика-Морраса не так уж важны «игры в Люцифера» и богохульства, более того, романтизм для него сам имеет религиозные корни: индивидуалистическое неверие произошло от фанатичной веры, противопоставленной разуму. Уже в Ветхом завете имелись предпосылки для религиозного индивидуализма - пророки игнорируют существующую церковь, они один на один общаются с Богом. Секуляризация этой мистики привела к превращению метафизического бунта в социальный и политический. Поэтому романтизм для Морраса совсем не консервативен: даже если сегодня романтик восхищенно описывает Собор Парижской Богоматери, завтра он станет крушить алтарь и трон, послезавтра предстанет как меланхоличный денди или как «роковой» преступник.

Афины, Флоренция, Прованс - вот святые места Морраса. Культ античности и скептицизм сблизили его в то время с А. Франсом². Искусство примиряет человека с его уделом, но

¹ Стоит сказать, что при всех политических расхождениях - Камю был левым и ненавидел «Аксьон франсез» - в области эстетической его позиции близки Моррасу. Более того, оценки античности, христианства, романтизма и «немецкой идеологии» у Камю настолько сходны, что встает вопрос о возможном влиянии.

² Они познакомились в 1892 г. и были близкими друзьями, виделись 1-2 раза в неделю. Быть может, рассуждения аббата Лантеня о республике в первом романе «Современной истории» передают аргументы Морраса. В «Будущем интеллигенции» он дважды ссылается на «Современную историю», хотя к тому времени он уже расстался с Франсом в силу политических разногласий. Начав «Современную историю» с саркастического описания управляемой масонами продажной республики, Франс в двух

лишь в том случае, если это подлинное искусство, творящее прекрасные формы, способные на время дать человеку забвение своих страданий. Отличие от Шопенгауэра заключается в том, что взгляд на искусство у Морраса изначально политический: искусство либо служит цивилизации, либо ее разрушает. Романтический нигилизм коренится в самой природе человека, хаотичного и аморального существа. Обуздать этот хаос необходимо разуму и традиции - этого требует уже инстинкт самосохранения. Но разум человека слаб, он должен опираться на нечто ему предшествующее и прочное. Кровь и почва, равно как и основывающаяся на них традиция, представляют собой природную данность, столь же иррациональную, как и хаос страстей. Традиция способна направлять разум и волю, она делает человека человеком. Однако никакой духовной традиции Моррас не знает - не только в смысле «традиционализма» Генона, но и с точки зрения католицизма. Церковь важна для него исключительно как социальный институт, который дисциплинирует души. Католичество «с его сенсуализмом, идеей телесной красоты, чувством земной любви, радостью по поводу всего природного» для Морраса ценно как некая современная форма язычества.

Начатая в 1890 г. и вышедшая в 1896 г. повесть «Райская дорога» была тут же включена в папский индекс запрещенных книг, поскольку похвалы язычеству сопровождалась в ней откровенно антихристианскими пассажами относительно «религии рабов»¹.

последних романах высмеял французских роялистов и националистов, недвусмысленно заявил о своей позиции в пользу Дрейфуса, да еще стал симпатизировать социалистам и пацифистам. Хотя после Первой мировой войны Франс примкнул даже к коммунистам, это не изменило высоких оценок его Моррасом как художника. Стоит сказать, что он вообще не путал искусство и политику. Когда один из учеников и соратников по «Аксьон франсез» стал упрекать Морраса за то, что тот неизменно суров в оценке Людовика XVI и снисходителен к Вольтеру, этой «фернейской мумии», Моррас отвечал, что Вольтер, при всем своем просветительстве и издевках над Орлеанской Девой был неплохим французским писателем и поэтом, причем «классицистом» и противником Руссо.¹ При близких Ницше суждениях в этом произведении, совсем не обязательно искать здесь какое-то влияние - идеи «носились в воздухе». Любопытно то, что в «Общественном договоре» столь ненавидимый Моррасом автор писал практически то же самое: «Христианство проповедует лишь рабство и зависимость. Его дух слишком благоприятен для тирании, чтобы она постоянно этим не пользовалась. Истинные христиане

«Фанатическая религия» уничтожила классическое язычество, наступила долгая ночь цивилизации, причем победа христианства предстает у Морраса как триумф рабов, всякого рода убогих с задворков цивилизации. Впоследствии он станет прославлять Юлиана Отступника, который был провозглашен императором именно в Лютетии, а тем самым передал Парижу наследие Эллады и ее богов.

Поездка в Афины на первые Олимпийские игры в качестве журналиста укрепила это язычество Морраса, но оказала воздействие и на его взгляд на мировую политику. Глядя на соперничество атлетов разных наций, он утвердился во мнении, что эти нации непременно вступят в вооруженную борьбу, что в «железный век» нужно не умиляться «прогрессу науки и культуры», а укреплять армию и национальное сознание. Во многих своих статьях и книгах он повторяет: мы живем в «железный век», нужно считаться с тем, что Францию окружают более сильные державы, готовые решать конфликты силой оружия.

Лучшее эссе Морраса на темы геополитики «Киль и Танжер» указывает именно на то, что во внешней политике необходимо считаться с реальным соотношением сил в мире: либо уступить Англии в переделе колоний ради борьбы с Германией, либо оставить реваншистские планы по поводу Эльзаса и Лотарингии, вступать в союз с Германией против «владычицы морей». В любом случае нужно проявлять решимость и вооружаться, поскольку над воротами нашей эпохи начертано: «Горе слабому». Все хотят мира, но все готовятся к войне, кроме оказавшейся во власти радикалов Франции. Пацифизм всем хорош, кроме одного: он служит интересам иностранных держав, которые наперегонки строят линкоры. Для него не было более ненавистных слов, чем куплет «Интернационала», который исчез в русском переводе, но хорошо передает настроения социалистов перед Первой мировой войной: «...и если эти каннибалы будут упорствовать и делать из нас героев, то скоро они узнают, что наши пули предназначены для собственных генералов». Европа готовится к мировой войне, Франция готовится к войне гражданской - вот постоянный мотив публицистики Морраса. Именно поэтому в «деле Дрейфуса» он увидел прежде всего угрозу армии, а тем самым и всей нации.

созданы, чтобы быть рабами...» (*Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. - М., 1998. - С. 319).

Дело Дрейфуса поначалу было делом исключительно судебным, но затем оно надолго раскололо страну на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров». Напомню, что капитана Дрейфуса обвинили в шпионаже в пользу Германии, его осудил военный трибунал республики, а не какие-то антисемиты из «Лиги патриотов». Приговор отказались пересматривать депутаты парламента - они были убеждены в виновности; президент Фор отказал в помиловании. Иначе говоря, и власти, и общественное мнение республики были убеждены в обоснованности приговора. Судебные ошибки вообще не редкость, а в делах о шпионаже, скрытых от глаз публики, их трудно пересматривать - всякий раз возникает вопрос о тайнах разведки и контрразведки. Выступление главного свидетеля обвинения, полковника Анри, завершалось ссылкой на некие обстоятельства, которые всякий контрразведчик должен не предавать гласности («оставлять под своей фуражкой»).

Семья Дрейфуса, убежденная в невинности капитана, добивалась пересмотра приговора; на помощь семье пришли влиятельные еврейские круги, сбор материалов, показывающих, что Дрейфус невиновен, сопровождался сомнительными денежными операциями, подкупом журналистов. Это положило начало разговорам о деятельности «еврейского синдиката». Никак с этими кругами не связанный новый руководитель разведки полковник Пикар обнаружил, что настоящим шпионом мог быть аристократ Эстергази, тогда как обвинение Дрейфуса вызывает сомнения. С этого момента дело приобрело политический характер. В газете «Орор» вышла знаменитая статья Золя «Я обвиняю», но газета была рупором героев «Панамы», вроде Клемансо - подозрения в подкупе, связях с «синдикатом» были настолько сильны, что еще летом 1898 г. общественное мнение было целиком на стороне обвинения, а парламент вновь отказался пересматривать дело. Эстергази был оправдан судом за недостаточностью улик, Золя был осужден за клевету, антисемитские настроения стали массовыми. Когда в сентябре 1898 г. Анри был арестован по приказу министра обороны Кавеньяка и покончил с собой в камере тюрьмы, ситуация резко изменилась. Военное министерство признало, что Анри фальсифицировал документы, а самоубийство выглядело как признание собственной вины. Пересмотр дела Дрейфуса казался неизбежным, лагерь «дрейфусаров» сразу укрепился.

В это время вышла статья Морраса «Первая кровь», которая имела не меньшее значение, чем статья Золя - она изменила мнение значительной части тех, кто готов был признать, что Дрейфус был обвинен на основании сфальсифицированных документов. Действительно, бросивший разглядывать сокровища Британского музея и примчавшийся из Англии Моррас, имел полное право дать иную интерпретацию самоубийства Анри. Ведь самоубийство могло быть вызвано отчаянием честного солдата, который не фальсифицировал бумаги, но просто переписал тайный документ (письмо итальянского военного атташе своему немецкому коллеге), публикация которого могла вызвать войну. Моррас прямо обвинил руководство министерства обороны в продажности, в том, что оно «сдало» Анри «синдикату». Если ранее «антидрейфусарами» были и многочисленные республиканцы, то теперь этот лагерь стал объединять противников республики.

Хотя новый военный суд подтвердил виновность Дрейфуса, он был помилован новым президентом республики, Эмилем Лубе, что вызвало вздох облегчения у одних (завершилось бессмысленно будоражившее страну дело) и ненависть у других - для них президент оправдал шпиона под давлением «синдиката» и купленных им политиков. Впоследствии, в своей «Политической исповеди» Моррас писал, что для него изначально дело было не в самом Дрейфусе, не в том, виновен он или нет. Мнения на сей счет были разными, причем у далеких от антисемитской истерии лиц. Журнал (на то время журнал, а не газета) «Аксьон франсез» напечатал перевод статьи главы немецких социал-демократов В. Либкнехта, который прямо писал о том, что дело было раздуто еврейской прессой, а Дрейфус виновен. Куда важнее было то, что на армию нападала пресса, находившаяся в руках радикальной партии. «Я не хочу возвращаться к давешним дебатам: *виновен* или *невиновен*. Мое мнение хоть тогда, хоть сегодня таково: если, по случаю, Дрейфус был не виновен, то его следовало бы сделать маршалом Франции, но расстрелять дюжину его главных защитников за тройное преступление против Франции, против Мира, против Разума»¹. За это дело потом расплачивались сотни тысяч французов, солдат Первой мировой войны - армия была ослаблена.

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - Т. 2. - Р. 55.

Моррас подчеркивал, что личность Дрейфуса вообще его никак бы не заинтересовала - у «рыцарей плаща и кинжала» сколько угодно секретов и темных дел. Но поднятая в прессе кампания служила развалу армии, полному контролю над ней тех, кого он считал «агентами влияния» иноземных держав. Моррас, кстати, считал отчасти ответственной за раздувание этого дела не Германию, но Англию. Деньги дрейфусарам шли именно из Англии, которая в это время сталкивалась с Францией в борьбе за колонии - после пакта с Россией отношения с Германией на 1897-1898 гг. были вполне удовлетворительными.

«Дело Дрейфуса» обычно излагается только с одной стороны: осуждение невинного на основании сходства почерка и сфальсифицированного документа; к тому же - осуждение еврея и антисемитская кампания в прессе. Иногда глухо говорится о том, что семейство Дрейфуса и его адвокаты сами прибегали к методам, которые вызывали подозрения в виновности. Но за конфликтом, который пять лет подряд волновал Францию и кончился довольно странным компромиссом, стояла борьба между реальными политическими силами. Франция была в то время единственной европейской страной с массовой демократией, открытым для глаз противостоянием элит в условиях, когда партийная система еще не была «отлажена», когда немалое влияние сохранили монархические круги, получающие поддержку церкви (а тем самым и миллионов избирателей в провинции), но со все увеличивающимся влиянием организованного рабочего движения. Республике помогало то, что и расколотыми были как монархисты, так и социалистическое движение - даже марксисты Гед и Жорес не находили общего языка, а в то время еще сохраняли свое влияние сторонники Бланки и Прудона.

К 1890 г. прежние противостояния в буржуазном лагере, казалось бы, нашли оптимальное решение. Президент Ф. Фор вполне устраивал большинство монархистов и армию. Из правительственных кругов были убраны лица, замазанные «Панамой»; кризис буланжизма был преодолен. К этому времени католическая буржуазия смиряется с республикой. Конечно, свою роль сыграли реформы и энциклики папы Льва XIII, но правых объединяет прежде всего страх «коммуны», появление социалистического противника. Консервативное большинство в палате устойчиво, страна впервые с 1871 г. получила возможность спокойного развития. Ослаб-

ленными в результате оказались как монархисты всех оттенков, так и буржуазные радикалы с их антиклерикализмом, тем более что наиболее видные из них были замешаны в «панамское дело». История с Дрейфусом получила такую огласку именно потому, что и крайне правые, и радикалы увидели в ней возможность для укрепления своих позиций: при обострении борьбы консервативный республиканский лагерь раскололся. Собственно говоря, политическим это судебное дело стало именно потому, что радикалы во главе с Клемансо увидели в нем свой шанс вернуться в коридоры власти и не упустили его. Социалисты, которые поначалу смотрели на это разбирательство со стороны (спор двух фракций буржуазии), затем также увидели возможность поколебать равновесие в свою пользу: первые министры-социалисты входят в правительство радикалов, что было невозможно при власти консервативного большинства. Радикалы не скрывали того, что их целью является полный контроль над армией и максимальное ограничение церковного влияния. После победы они приступили к антиклерикальным мерам, которые ранее были невозможны из-за позиции «умеренных».

Немалое число католиков, тесно связанных с клиром и с армией, стали яростными антидрейфусарами, тогда как многие светские республиканцы поверили Клемансо, что существует монархический заговор. В результате, после победы в «деле Дрейфуса» у власти оказались именно радикалы, которые стали проводить откровенно антикатолическую линию, усиливая тот конфликт, без коего у них не было перспектив; с другой стороны, и в Париже, и в провинции оказалось значительное число лиц, которые уже никак не могли претендовать на какую бы то ни было карьеру в республике, людей дискредитированных, озлобленных. Представители элиты, которые знают, что им нет нормального хода при определенном режиме, будут стараться его устранить. Таков был шанс Морраса, он его не упустил, подобно тому, как не упустил своего шанса Клемансо. Страна была расколота и вплоть до Первой мировой войны борьба шла между радикалами и откровенными монархистами. Моррассу помогло и то, что к началу XX в. исчезли или ослабели другие оппозиционные движения - «лиги патриотов», антисемитские организации, буланжисты. Все они были республиканскими, все они сочетали крайний национализм с социализмом тех или иных оттенков. Сошли со сцены и их лидеры - Де-

рулед, Сиветон. Произошла мобилизация разного рода правых в «Лиге французского отечества», но она была настолько умеренной, что ее покинул и Моррас, и двое молодых интеллектуалов, основавших Action française, Пюжо и Вожуа. Моррас вступает в эту организацию - из публициста он делается политиком.

Доктрина Морраса формируется в последние годы XIX в., в то самое время, когда он убеждал Вожуа и Пюжо в преимуществах монархии. Основные аргументы были изложены в «Исследовании монархии», они лишь отчасти совпадают с традиционными доводами роялистов хотя бы потому, что сам Моррас ни во что не ставил мистическую доктрину королевской власти (то, что Канторович, вслед за английскими юристами XVI-XVII вв. называл «двумя телами короля»); «божественное право королей» Моррас однажды просто отнес к «торжественным глупостям». Такого рода «глупости» способны воздействовать лишь на тех, кто наделен верой, а ее не было ни у Морраса, ни у его слушателей из «Аксон франсез», молодых людей, ненавидевших республику, но считавших монархию чем-то архаичным. Этим же воззрениям придерживался М. Баррес, который не желал забывать о своем деде, солдате «Великой армии» Наполеона. Моррас имел дело с националистами, которые желали «твердовластия», «сильной руки», укрепления армии, но никак не Бурбонов, не Реставрации с какими-то возвращающимися в свои замки и особняки маркизами и графами.

В это время (1899 г.) Моррас пишет, наряду с «Исследованием монархии», текст «Роялистская диктатура и ее принципы», который был опубликован впоследствии под заглавием «Диктатор и Король». Для того, чтобы «навести порядок» после долгих безобразий демократии, королю потребуются диктаторские полномочия. Прежняя элита должна сойти со сцены, а это невозможно без принуждения и даже насилия. Основной задачей такой диктатуры является деполитизация общества - запрет на деятельность партий, ликвидация партийной прессы, агитации составляют важнейшую задачу диктатуры. В экономике предполагается борьба со злоупотреблениями капитализма, «со спекулянтами-космополитами, которые утвердились среди нас; здоровый и сильный народ сам справится с паразитами». Иначе говоря, король у Морраса напоминает, скорее, Бонапарта, разгоняющего республиканский парламент с помощью штыков или даже диктаторов XX в. Однако хорошо заметны и отличия, так как целью временного ограниче-

ния прав является защита права в целом. Диктатура краткосрочна, а так как речь идет о наследственной монархии, то диктаторские полномочия короля вообще сами собой отпадут достаточно скоро. Даже в условиях временной диктатуры за коммунами, провинциями остается решение всех основных проблем. Главным достижением диктатуры будет децентрализация, истинная свобода будет дана профессиональным ассоциациям, церквям, университетам, различным юридическим лицам. Исчезнет лишь «негативная свобода», свойственная партийной системе. Корпорации, палаты, институты - у них влияние увеличивается, именно потому, что исчезает парламент. Государство сжимается по своим функциям, перестает вмешиваться во все области и регулировать, но там, где это нужно, оно правит авторитарно. «Авторитет вверху, свободы внизу - вот формула роялистских конституций»¹.

На место чисто словесных гарантий свобод и прав в республике приходят реальные практические гарантии. Частных удобств и свобод больше, но вместе с тем растет и национальная сила - концентрация власти происходит там, где это действительно необходимо. В республике университеты и церкви лишены духовной свободы, их контролируют и опекают из министерств; в монархии они получают независимость от государства, они не содержатся на бюджетные средства, а потому не управляются министерскими чиновниками. Государство никоим образом не вмешивается в научные и философские изыскания; просто прекращается государственная поддержка подрывных теорий. Все это никак не напоминает меры, вроде нацистской «организации» (Gleichschaltung), когда буквально все институты гражданского общества были подчинены государственной и партийной машине. Небольшая профессиональная армия сменяет республиканскую с ее всеобщей воинской повинностью. Разумеется, такая армия преданно служит королю и, в случае нужды, подавит любой бунт. Но она явно не годится в качестве орудия агрессивной внешней политики. В этом программа Морраса также отличается от фашистских с их «тотальной мобилизацией». Он остается консерватором, даже реакционером - образцы он находит в монархии эпохи Реставрации.

¹ *Maurras Ch. Dictateur et Roi. Manuel de l'Enquete sur la Monarchie - P., 1928. - P. 392.*

С тоталитарными идеологиями эту доктрину роднит концепция «внутреннего врага». Она была одним из источников учения К. Шмитта о политическом, как отношении «друга» и «врага», но с тем отличием, что Моррасу был чужд всякий «децизионизм», он держался характерного для прежних консерваторов органицизма. Поводом для ее возникновения было «дело Дрейфуса» - все антипатриотические силы объединились в своем походе на армию, видя в ней потенциального врага республиканского режима, консервативную силу. Но главная вина лежит на самом республиканском режиме, который неизбежно ведет к власти Денег, а затем и к господству «Анти-Франции»; это не только и не столько евреи, они - лишь один из участников этой коалиции, причем далеко не самый сильный. Евреи дурны не сами по себе, но лишь потому, что они - чужаки, получившие непропорциональное влияние в стране, традиции которой ими игнорируются. Моррас даже ввел категорию вполне терпимых в его идеальной монархии евреев (*Je juif bien ne*), к которой относил большинство веками живущих во Франции представителей этой нации - проблемы возникают с переселенцами с Востока. В 1930-е гг., в ответ на послания ряда симпатизировавших «Аксьон франсез» евреев, указывавших на свой патриотизм, защиту Франции в годы войны 1914-1918 гг., Моррас отвечал, что он признает заслуги множества евреев перед Францией, а оптимальный путь видит в том, что евреи станут одной из «почвенных» национальностей, вроде бретонцев или гасконцев, но для этого им следует поселиться в одном из департаментов, прожить там несколько поколений. Он вряд ли знал, что именно в это время по сходному проекту на Дальнем Востоке была создана Еврейская автономная область.

Антисемитизм у Морраса играет подчиненную роль уже по той причине, что на 40 миллионов населения Франции евреев в начале века было 90 тысяч. Куда чаще он поминает масонов и особенно протестантов. Масонские ложи контролируют радикальную партию и ведут борьбу с католицизмом. До войны 1914 г. Моррас нередко изображал протестантов как исторического «внутреннего врага». Давняя история оказывается частью современной политики: религиозные войны XVI-XVII вв. были первым этапом борьбы Франции с «Анти-Францией». Моррас предстает как наследник католической Лиги, Гизов, «испанской партии». Протестанты в те времена вошли в союз со своими единоверцами в Англии и Герма-

нии, стали служить врагам, а потому оправданы их преследования. Из кальвинистской Женевы пришел ненавистный Руссо, а с ним сентиментальный романтизм и brutальная революция. Гугеноты - чужеземцы в родной стране, они прославляют индивидуализм, разрушают сообщества, но сами держатся плотно сбитой стаей, помогают друг другу захватывать все новые позиции. Моррас пишет книгу на основании попавших ему в руки документов о целой династии одной влиятельной протестантской семьи - Моно. Он приписывает ей всевозможные уловки и преступления, способствовавшие росту богатства и власти. Но главное, эти потомки разгромленных гугенотов никогда бы не преуспели, не будь революции. Это ее дети, но и сама революция восходит к протестантскому индивидуализму, вся либеральная риторика прав и свобод коренится в Реформации. Язва индивидуализма распространяется «вступившими в коалицию бандами» - протестанты, евреи, масоны и метеки едины в своей вражде исторической Франции, всем ее традициям. Революция привела к тому, что чужеземца приравнивали французу, а следствием оказалось то, что чужеземец стал теснить француза на собственной территории. Орудием этих сплоченных групп стали деньги: «Древняя Франция стала в большой степени объектом торговли. Она признала своим господином деньги. Но у денег нет отечества»¹. Единство нации в противостоянии с другими державами всегда будет неполным, пока внутри страны действуют ее враги. Когда они добиваются полновластия, страна неизбежно клонится к упадку и к поражению. «Мы уже стали подданными метеков. Сделаем ли мы их рабами? Испытаем ли мы новое нашествие варваров? Если этот удел нам не нравится, то час пробил - нам нужно восстать... Нам нужно лишь удалить нарыв»².

Однако силу этих сегодняшних врагов составляют ложные идеи, сделавшиеся идолами в массовом сознании со времен Революции, уже в средней школе француз впитывает догматику «свободы, равенства и братства» и полагает, что старый порядок был тиранией, от которого он был избавлен в 1789 г. Как и его предшественники - монархисты, Моррас устанавливает генеалогию этих ложных принципов, но в отличие от Де Местра и Бональда, бо-

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P.: Flammarion. - Т. II. - 1954. -P. 188.

² *Ibid.* - P. 165.

ровшихся с Просвещением и такими его предшественниками, как Локк или Бэкон, Моррас связывает Революцию с Романтизмом и Реформацией. Уже первая опубликованная им книга по вопросам политики - «Три политических идеи» (1898) - содержит тезис о разрушительности романтизма для монархии. Казалось бы, это расходится с привычным взглядом на романтизм, который часто рассматривался как консервативная оппозиция Просвещению -К. Мангейм сделал из романтизма даже главный источник консерватизма, а марксистские идеологи одно время писали исключительно о «реакционном романтизме».

Конечно, Морраса можно упрекнуть в том, что и почвеннический гейдельбергский романтизм, и британская «Озерная школа» сделали у него какими-то рассадниками революционных идей. Но и во Франции романтизм был прямо или косвенно связан с эпохой Реставрации, а Шатобриан был одним из видных политиков этой эпохи, да еще и создателем самого слова «консерватизм» (издаваемая им в 1818-1819 гг. газета «Le Conservateur»). Именно с критики Шатобриана начинается поэтому книга Морраса: будучи романтиком, Шатобриан не искал вечного, не знал настоящей традиции; «этот идол современных консерваторов воплощает для нас, скорее, гений Революции»¹. Столь же резко он обрушивается на романтическую историографию Мишле, у которого повсюду «сердце», повсюду «страсти»; из-за ложных романтических принципов великий историк сделался «философом безмозглого человечества». Романтизм в истории оставляет хладнокровные наблюдения ради сиюминутных страстей, он лишен критического анализа, логики. Моррас впервые пишет об «организующем эмпиризме», с его объективизмом и реализмом, противопоставляя историцизму позитивистскую социологию Конта². Роялизм должен обосновы-

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P. 74.

² Моррас неоднократно обращался к социологии Конта, он написал о нем и небольшую книгу. Помимо собственно позитивистской программы Конта его привлекала критика революции, защита порядка и дисциплины. Нужна новая организация общества, и найти ее нужно научным путем «свободного исследования». В приложении к другой работе («Женский романтизм. Аллегория беспорядочного чувства») Моррас приводит ряд цитат из трудов Конта по поводу революции. Скажем про «революционное состояние» он писал так: «Если революционное состояние заключается у его практиков в том, что все желают командовать и никто не

ваться научными фактами, а не ссылками на «божественное право королей»; иррационалистами для Морраса являются романтики - либералы и анархисты, тогда как классицизм с его «духом авторитета и традиции» имеет лишь один алтарь «богини Разума».

Впоследствии Моррас развил эти идеи в эссе «Романтизм и Революция» (первоначально - предисловие к сборнику, вышедшему в 1922 г.), в котором указываются религиозные истоки Революции. Классический дух чужд революции, как и дух средневекового католицизма. «Отцов революции нужно искать в Женеве, в Виттенберге, а еще раньше - в Иерусалиме; они происходят из еврейского духа и тех разновидностей христианства, которые произошли из восточных пустынь и германских лесов при встрече с варварским миром»¹.

В одном из позднейших примечаний к «Трем политическим идеям» Моррас пишет об угрозе «теистического лицемерия», угрозе бегства в сентиментальный религиозный фанатизм. Деизм еще хуже с его духом чувствительности, со вздохами дам по поводу «природы», «естественности». Протестантизм был возвратом к ветхозаветным пророкам, он впитал в себя «яд мистики», которая антицерковна и антисоциальна по самой своей сути. Католицизм хорош именно тем, что он «организует идею Бога, а тем самым удаляет этот яд»². На пути к Богу оказывается множество посредников, ими полнятся земля и небо. Монотеизм сохраняется, но он задает гармоничный и осмысленный космос. Если Бог и разговаривает с верующим католиком, то между сердцем и Богом стоят епископы, доктора церкви. Иначе говоря, имеются признанные авторитеты, иерархия во главе с папой. Все это мешает приписывать Богу собственную низость, да еще и оправдывать ссылками на Бога бунты сволочи: «...католицизм предлагает единственную идею Бога, терпимую ныне в хорошо упорядоченном государстве.

желает подчиняться, то у теоретиков оно принимает не менее гибельную и более универсальную форму: всякий желает учить и никто не желает слушать». В письме генералу Бонне Конт писал: «На протяжении тех тридцати лет, что я держу в руках философское перо я всегда считал народный суверенитет навязчивой мистификацией, а равенство - подлой ложью». Иными словами, Конт был привлекателен для Морраса не только как эмпирик-позитивист, но и как политический единомышленник.

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales*. - Т. II: *Essais politiques*. - P. 33.

² *Ibid.* - P. 89.

Прочие могут стать угрозой обществу. У древних израильтян пророки, избранные Богом помимо священства, были источниками беспорядка и волнений»¹. После того, как евреи лишились храма, они сделались «агентами революции». От еврея происходит протестант с его монотеизмом, профетизмом и анархией (начиная с анархии в мыслях). Там, где нет церкви со строгими правилами, идея Бога просто опасна, а католицизм прославляется Моррасом именно потому, что сохранил многие черты язычества, а тем самым и нейтрализовал «яд» христианства.

Лютер прервал Возрождение, Лютер, да и вся Реформация - наследники варвара Арминия. Революционная идеология во Франции проистекает не от Вольтера и Монтескье, которые хоть и оказались под влиянием протестантской Англии, но остались верны духу классицизма, были людьми «классической выучки». В неистовой критике Руссо слова «варвар» и «паразит» являются у Морраса еще самыми мягкими. Человек у Руссо - помесь преступника, дикаря и безумца. Руссо принес дух протестантизма, который отрицает монархию и желает республики². Он же был творцом романтизма. В книге «Женский романтизм. Аллегория беспорядочного чувства» Моррас определяет романтизм как германское явление, заразившее другие страны.

Франция - страна классицизма, она держится его с конца средневековья. Несравненный вкус во Франции, унаследованный от Греции, отличает ее от всех прочих народов. «Вся Европа в сравнении является варварской; и с тех пор, как французское влияние уменьшилось... стало возрастать всеобщее варварство». Посредственность англосаксов, вредное влияние немцев связываются как с их непроходимым варварством, такие протестантизмом. «Немцы - лишь варвары, и лучшие из них это знают. Я не

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales*. - Т. II: *Essais politiques*. - P. 90.

² Стоит напомнить, что неизменно порицаемый Руссо все же не был большим поклонником демократии, полагая, что эта форма правления возможна лишь в незначительных по своим размерам государствах, да еще писал: «Прибавим, что нет Правления, столь подверженного гражданским войнам и внутренним волнениям, как демократическое или на родное... Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но Правление столь совершенное не под ходит людям» (*Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре*. - М., 1998. - С. 256).

говорю уж ни о москвитях, ни о татарах», - писал Моррас в «Мои политических идеях». Единственным немцем, которого он сочувственно ставил рядом с французами, был Гете, хотя высоко оценил и «Речи к немецкой нации» Фихте - в условиях потерпевшей под Йеной крушение Пруссии он показал тем самым, что должен делать патриотически настроенный мыслитель.

Есть цивилизации и есть Цивилизация, начавшаяся в Греции. Рим просто ее расширил, распространил. Ренессанс был возвратом к ней, Реформация прервала «это великолепное развитие... Бесстрастные историки и философы начинают точно оценивать, какое отступление Цивилизации скрывается под именем Реформы». Во Франции это варварство («под лживым именем освобождения») было остановлено, короли и народ имели здравый рассудок и мужество в борьбе с гугенотами - благодаря этому последовало блестящее развитие Франции в XVII и даже в XVIII вв.; «Франция стала законной наследницей греко-римского мира. Благодаря ей мера, разум и вкус царили на нашем Западе; помимо варварских цивилизаций тем самым продолжала существовать истинная Цивилизация, существовать вплоть до рубежа нашей эпохи». «Несмотря на Революцию, которая представляет собой лишь продолжение Реформы, осуществленной в самых жестоких формах, несмотря на романтизм, который является просто литературным, философским и моральным продолжением Революции», во Франции еще многое от этой Цивилизации живо - «наша традиция лишь прервана, но наш капитал сохранился»².

Моррас насмешливо пишет о «дамском романтизме» с его «чувствами», но за ним различает серьезное явление - сам принцип романтизма, который лежит в основе революционной анархии. Эстетические суждения у него суровые: скажем, принципы эстетической теории Малларме «полностью применимы к виду животных, обходящихся без высших функций разума»³. Романтизм - не обязательно страсть и экзальтация, тут больше «настроения», «каприза», преобладает «ячество». Много меланхолии, но много и кокетства - не только у дам, но и у романтических авторов, вроде Шатобриана, Гюго, Мюссе, Бодлера, Верлена. Они хотят понра-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - 1937. - P. 82.

² *Ibid.* - P. 84.

³ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - Т. II. - P. 214.

виться, они принаряжаются и подкрашиваются. Эстетика характера противостоит эстетике гармонии классицизма. В последней - разум эллинов, а варвары держатся страстей, характера. Женщины свои страсти умело прячут, а эти выставляют их напоказ. «Природа была мудра, скрывая иные побуждения и порывы в полутени бессознательного. Наши менады были настолько безумны, что бесстыдно вынесли их на свет»¹. В заключение Моррас взывает к богине Минерве: именно Афина является богиней мудрости, меры, вкуса, ритма, гармонии. Эта покоящаяся на разуме цивилизация не утеряна безвозвратно; от нас зависит - будет ли это дерево плодоносить.

Романтизм и в философии, и в поэзии, и в романах имеет один и тот же исходный принцип - абсолютной суверенности человеческой воли, причем сама воля выводится из хаоса чувств. «Дождались безумной Ксантиппы, присвоившей себе права Сократа, и Сократа, узурпировавшего права Юпитера»². Романтизм есть антигосударственный индивидуализм, анархизм. «Романтизм - это Революция. Это порождение Руссо свергает то, что было вверху и протаскивает наверх то, что было внизу»³. В области художественного творчества романтизм претендовал на то, что даровал творцу свободу. На деле вторичные или даже десятистепенные для художника ценности были поставлены на первое место. И классический художник знал, что он свободен, но для того, чтобы творить прекрасное, он должен соблюдать правила и законы. Романтик отправляет на свалку все правила, все каноны - важна лишь его субъективность. В юридическом смысле, конечно, художник свободен, но он совсем не свободен от законов предмета своих занятий. Романтическая свобода имеет чисто негативный характер; свободой называют безмерность, захваченность темными чувствами, словом - анархию и произвол.

То же самое происходит и в политике. Свобода в понимании классицизма не есть свобода «либеральная», она имеет четкие границы. Свобода революции есть свобода негативная, свобода отрицания. Принципом для нее является субъективность, индивидуальность. «Индивидуальная свобода, социальный индивидуализм -

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P. 233/

² *Ibid.*-P. 37.

³ *Ibid.*-P. 42.

таков словарь этих доктрин прогресса»¹. Они обещают всеобщее счастье для доверчивой толпы, но ссылки на «разум» тут явная ложь. Индивидуальная свобода, эгоизм не могут сделаться основаниями государственной жизни. Платить по счетам приходится потомкам революционеров, и платить дорого. Никакого «рационализма» в Революции не было. Конечно, идеи были абстрактными - идеи человека и его прав, но как раз с точки зрения разума эти идеи ложные. Если уж писать общую формулу, то ею никак не будет равенство всех со всеми; утверждения о воле индивидов, предшествующей государству, фантастический «общественный договор», по которому государство возникает - разве это отвечает разуму? Идеи революции были насквозь иррациональными, ложными и разрушительными. Именно разум противостоит революции с ее иррациональной стихией.

Собственно говоря, «Будущее интеллигенции» Морраса примыкает к его литературоведческим работам, ведь «интеллигенцией» он называет литераторов, объявивших себя «умом и совестью» нации. Хотя он начинает книгу с утверждения, что понимает под «интеллигенцией» то же, что имеется в виду в России, взгляд у него неизбежно иной, чем у авторов «Вех», - подписываемые французскими интеллигентами петиции в защиту Дрейфуса все же отличны от широкой поддержки революционного террора. Впоследствии он будет ссылаться на негативный опыт России: «Партия Интеллигенции» была вырезана в результате развязанной ею революции (он ссылается на русских эмигрантов, которые в 1922 г. подсчитали число загубленных интеллигентов - 355 250 человек). Интересы революции совсем не интеллектуальны, совсем не «разумны», а интересы интеллекта не революционны. Серьезному познавательному усилию потребен порядок, ему нужна традиция. Угроза революции - это и угроза интеллектуальному творчеству, угроза разумному человеку вообще. «Тот, кто продолжает выводить двойную линию романтизма и революции, открывает перед Разумом лишь одну перспективу - свободу смерти»². Трудно сказать, были ли знакомы Струве или Гершензон с вышедшей в 1905 г. книгой Морраса, но в России тема «беспоч-

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P. 48.

² *Ibid.* - P. 52.

венности» интеллигенции до сих пор не утратила внимания публицистов самой разнообразной политической ориентации.

Во Франции слово «интеллектуал» только входило в те годы в оборот, причем употребляли его чаще всего в негативном смысле «антидрейфусары». Во Франции уже существовала своего рода «социология интеллектуалов»: можно сказать, что начало ей положил Наполеон своим презрительным суждением об «идеологах»; Токвиль писал о роли литераторов в генезисе Революции. Моррас проследивает историю этого небольшого слоя «властителей дум» - нет смысла пересказывать это произведение. Отметим только три момента этой небольшой книги.

Во-первых, Морраса можно считать одним из основоположников «социологии интеллектуалов», поскольку он связывает формы знания и деятельности с социальными детерминантами. В дальнейшем консервативные авторы (Шумпетер, Гелен, Шельски) будут аналогичным образом сочетать критику левых интеллектуалов с социологией знания. «Свободно парящей» в мире идей интеллигенции не существует, она всегда связана с интересами больших социальных групп. Уже в этом эссе Морраса обнаруживается тезис о «смерти» интеллектуала, который получил детальную разработку в последнее время (скажем, у М. Фуко). Массы не нуждаются в поводырях, указующих им на некое «светлое будущее», им не нужны такого сорта проповедники, чтобы что-то знать и делать, они недурно умеют выражать свои устремления.

Во-вторых, Моррас обратил внимание на важный для обоснования и легитимации демократии элемент: начиная с Просвещения, свободе мнения, публичности придавалось решающее значение в обосновании парламентской демократии. Отказ от кабинетной политики абсолютной монархии, от тайной дипломатии обосновывался именно отсутствием публичного обсуждения. Политика должна находиться под контролем общественного мнения, а потому свобода слова является условием всех прочих свобод. Моррас показывает, что свободы могут провозглашаться, но услышанными будут голоса только тех, за кем стоит реальная власть денег: общественное мнение успешно формируется, а имеющий отличные от требуемых воззрения журналист быстро потеряет свое место. Разумеется, о всевластии денег говорили с давних времен; Григорий Богослов писал: «Когда говорит золото, тогда все другие слова не действительны. Оно умеет убеждать, хотя и не имеет языка».

Но в древности и даже в сравнительно недавнем прошлом свобода слова не была важнейшим средством легитимации политического режима. Сегодня, когда средства массовой информации находятся под контролем либо государства, либо крупного капитала, массовое «промывание мозгов» стало очевидным. Я не стану вспоминать о скандальных российских референдумах и выборах, но и на Западе ситуация немногим лучше. Последняя прижизненная статья такого апологета «открытого общества», как К. Поппер, была посвящена необходимости хоть какого-то общественного контроля над каналами телевидения - она была написана сразу после «телепутча» Берлускони.

В-третьих, Моррас ставит перед интеллектуалами альтернативу: служить либо Деньгам, либо Крови. Как монархист он имеет в виду прежде всего династию, но подразумевается и народ, нация. В этом его рассуждения чуть ли не буквально совпадают с позицией Ленина, только тот писал о «народных массах» (этот термин вообще употреблялся им чаще, чем слово из марксистского лексикона - «пролетариат»). Иного выбора просто нет: либо быть холопами денежных мешков, либо служить собственному народу. Но у Морраса единственным ограничением власти капитала является опирающаяся на традиционные элиты власть государя. А там, где монархия навеки ушла, носителем такой власти может стать уже не опирающийся на традицию вождь. И ряд теоретиков фашизма, и многие консерваторы приходят в это время к той или иной версии цезаризма. Достаточно вспомнить о заключительном разделе «Заката Европы» Шпенглера: финальную схватку между деньгами и кровью он описывает в терминах Морраса, но стоит уже на позициях не роялизма, а цезаризма. «Появление цезаризма сокрушает диктатуру денег и ее политическое оружие - демократию... Меч одерживает победу над деньгами, воля господствовать снова подчиняет волю к добыче... Силу может ниспровергнуть только другая сила, а не принцип, и перед лицом денег никакой иной силы не существует. Деньги будут преодолены и упразднены только кровью»¹.

Моррас указал этот путь, но сам по нему не пошел, оставшись до самого конца монархистом и даже ничему не научившись за долгую жизнь - в тюремной камере он будет писать то же са-

¹ Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1998. - Т. 2. - С. 538.

мое, что писал в 1900 г. В «Будущем французского национализма» (1950) он повторяет те же тезисы о господстве финансовой олигархии, о навязанной чужеземцами власти (IV республика), но стоит на своем: Pour la France vive, vive le Roi! Чтобы быть сильной, процветающей суверенной страной, Франция должна вернуться к монархии, должна избавиться от наследия Революции и ее идей.

Вся политическая деятельность Морраса определялась этой целью, это было программным требованием «Аксьон франсез». Моррас возглавлял это движение, но не был его «вождем» в полном смысле слова, поскольку оно не стало даже настоящей политической партией. Вокруг одноименной газеты (сначала - журнала) сложилась сеть институтов, вроде своего рода политической школы, где читали лекции, или даже организации поддерживающих движение женщин, но жесткой дисциплины не было, как не было настоящего исполнительного органа.

Газетой, а тем самым и движением руководила группа лиц; до Первой мировой войны всеми организационными вопросами занимался Вожуа, в палате депутатов «Аксьон франсез» представлял Леон Доде, он же был главным публицистом газеты; Пюжо руководил «королевскими молодчиками» (так у нас принято переводить Camelots du Roi), молодыми распространителями газеты, которые в то же самое время были не прочь подраться, устроить обструкцию какому-нибудь преподавателю в Сорбонне, освистать и оскорбить политика из враждебного лагеря. Более или менее единолично Моррас стал руководить «Аксьон франсез» в 1920-е гг., но и тогда в принятии решений участвовали Доде, Бэнвиль и еще несколько человек. Ничего похожего на Fuhrerprinzip в «Аксьон франсез» не было, да и не могло быть: формально у монархической организации вождем должен был бы являться претендент на престол. Так как он куда больше любил женщин, спорт и охоту в Африке, то широкие полномочия были переданы Моррасу. В 1930-е гг. новый претендент на престол вступит в конфликт с Моррасом и монархическая организация лишится связи с династией.

«Аксьон франсез» получало поддержку прежде всего католической церкви и связанных с нею выходцев из дворянства и буржуазии. Они покупали и читали газету, они голосовали за многочисленных депутатов «Аксьон франсез» в палате. Это сказыва-

валось на стиле, на том, что сегодня называют «политической культурой» движения. Сопоставления «Аксьон франсез» с разного рода тоталитарными партиями всякий раз выявляют отличия, а тем, кто желает доказать обратное (в частности Нольте), приходится буквально насилловать исторический материал. Единственное сходство заключается в том, что у движения была небольшая группа молодых активистов, Camelots du Roi, которые прибегали к насильственным действиям, провокациям. Но полицейские отчеты в то самое время, когда к подобным действиям «королевские молодчики» прибегали чаще всего, т.е. в годы перед Первой мировой войной, показывают, что на всю Францию участников такого рода акций было 180 человек - вряд ли это может дать убедительные доводы для сопоставления с миллионами штурмовиков. К тому же активисты «Аксьон франсез» никогда не прибегали к террору, даже в ответ на убийства их соратников анархистами (в 1920-е гг. анархистами был убит ближайший сотрудник Морраса и главный финансист «Аксьон франсез», М. Плато).

Словесные оскорбления президента и депутатов все же никак не назвать «террором». Пишущие о политическом насилии «левые» чаще всего помнят о немногочисленных выходках «королевских молодчиков», но предпочитают умалчивать об атмосфере насилия, создававшейся хоть бросавшими бомбы анархистами (ими был убит, среди прочих, президент Карно), хоть ведомыми социалистами рабочими. Старомодность организации, в которой преобладали выходцы из дворян и городских буржуа, хорошо видна и по поведению вождей. Моррас несколько раз дрался на дуэли, однажды был ранен (представим себе Гитлера, вызванного кем-нибудь из оскорбленных либералов на дуэль); во времена «Народного фронта» Моррас провел год в тюрьме за свои статьи с угрозами по адресу членов кабинета, тогда как Гитлер сидел за попытку вооруженного путча. Несмотря на желание вовлечь в движение рабочих и крестьян, их в «Аксьон франсез» почти не было, зато на 1920-е гг. в кругах «золотой молодежи» было чуть ли не *comme il faut* какое-то время разносить газету и участвовать в потасовках с левыми. Моррасу удавалось привлекать и куда более серьезных молодых людей: членами «Аксьон франсез» побывали многие литераторы и мыслители. Но чаще всего они вскоре отходили от движения: привлекая своей критикой существующего политического режима, Моррас затем отталкивал догматизмом. Ряд интел-

лектуалов - Бразиллак, Дрие де Рошель - шли направо, к фашизму; Маритен сменил «интегральный национализм» на «интегральный гуманизм».

Собственно говоря, Моррас никогда не был настоящим политическим вождем. Он был прекрасным полемистом и Жорес советовал своим соратникам: «Главное, не вступайте с ним в дискуссию». Однако с массами он говорить не умел, и связано это не только с его глухотой, а с тем, что Моррас - человек идей, не понимающий, что вызывает эмоциональный отклик толпы. У "него отсутствовала и та интуиция крупных политиков, которые обладают чутьем к выгодному моменту: «Вчера было рано, завтра будет поздно...» Зимой 1934 г. республика могла пасть, власть могла перейти в руки правых - Моррас вообще не участвует в миллионной демонстрации в Париже, он завершает книгу. К тому же полковник Ла Рок его не устраивает, он не является монархистом, он позволяет себе критически высказываться об «Аксьон франсез». Если Моррас и контролировал «Аксьон франсез», то лишь в идеологическом отношении: несогласные с его доктриной должны были покинуть движение. В том числе и поэтому оно никогда не могло стать массовой партией, которая не терпит жестких догматических границ. Глава такой партии не станет разрушать ее базис из-за своих интеллектуальных предпочтений, тогда как личный конфликт Морраса с христианством привел к осуждению «Аксьон франсез» папой Пием XI, к формальному запрету католикам иметь дело с Моррасом, что привело к резкому ослаблению движения¹. Моррас был идеологом, доктринером, а не прагматичным политиком.

Наиболее четко Моррас изложил свою доктрину в поздней работе «Мои политические идеи (1937). Основополагающий принцип Морраса, ставший лозунгом «Аксьон франсез», формулируется коротко: «Сначала политика» («Politique d'abord»). Это не означает того, что политика может подменять религию или эстетику, политика - средство, а не самоцель. Чтобы добраться до конечного пункта, нужно избрать наилучший путь, чтобы попасть в цель, нужно брать в руки лук и стрелы. «Когда мы говорим «сначала

¹ Для сравнения можно вспомнить о том, что не жаловавший христианство Гитлер изгнал из НСДАП антихристианского публициста Динтера, который мешал получать на выборах голоса католиков и протестантов.

политика», то мы говорим тем самым: политика первенствует в порядке времени, но не в порядке достоинства¹. В «Политическом и критическом словаре» Моррас указывает на первенство политики из-за нужды человека и общества в защите. «Сначала политика» это - «принцип, который во временном порядке предшествует всем остальным, а именно, это принцип защиты и охранения, принцип обороны... Он самый человеческий из всех, поскольку человека нужно для начала защитить, а уж затем им управлять»². Но для того, чтобы применять этот принцип, следует четко представлять себе область и объект применения. Политической практике должна предшествовать теория.

Уже исходный пункт этой теории - понимание природы человека - содержит полемику с Просвещением и, прежде всего, с Руссо. Человек - политическое, общественное животное, он никогда не бывает в одиночестве. Начинать поэтому нужно не с Робинзона, но с семьи, с сотрудничества в работе. В семье нет равенства, дети находятся в зависимости от взрослых; неравенство не есть продукт цивилизации, как думал Руссо, но сама цивилизация, само общество проистекают из неравенства людей. Начало обществу кладет родительский инстинкт, защита слабого, а потому истоком общественной организации оказывается неравенство слабых и сильных. «Общество может склоняться к равенству, но для биологии равенство встречается только на кладбище»³. Род и племя, союз родственников, кланов столь же изначально противостоят другим - это врожденные характеристики человека. Мир делится на «Мы» и «Они», патриотизм и даже национализм укоренены в человеческой природе. Это - основа общества. «Не говорите, что это может привести к внешней войне; это избавляет нас от гражданской войны, войны наиболее жестокой»⁴.

Общество нуждается в порядке. «На всех уровнях своего бытия оно слабеет, когда ослабевает порядок; оно распадается, когда порядка нет»⁵. Порядок рождается из авторитета, он направ-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 95.

² *Dictionnaire politique et critique.* - P.: Cahiers Charles Maurras. - Т. 4. - P. 26.

³ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 95.

⁴ *Ibid.*-P. 18.

⁵ *Ibid.*-P. 36.

ляется инстинктом, в том числе и инстинктом масс - стремлением их быть управляемыми и хорошо управляемыми. Моррас иногда ссылается в связи с этим на освоенных еще в юности Аристотеля и Фому Аквинского. Целью государства является «благая жизнь», а она невозможна при безвластии. Аквинат представил монархию как идеальный политический строй, тогда как «тиранией» для него, в отличие от Аристотеля, оказались и аристократия, и демократия. Даже инвективы Морраса против республики как тирании восходят к Фоме: тирания не обязательно предполагает власть одного человека, важно то, служит ли власть целому или корысти индивида, сословия, класса. Олигархия есть тирания группы богатых, демократия - власть одного класса, навязывающего свое господство всему народу. Именно это ведет к беспорядку, к классовым конфликтам. Французская республика для Морраса есть тирания Денег, ряда групп («анти-Франции»), которые захватили власть над подавляющим большинством и эксплуатируют его в своих корыстных целях. Поэтому он видит в республике не просто неудовлетворительный режим, но всевластие хаоса, метафизическое зло, а потому часто ссылается на суждения аббата Лантеня о республике из романа Франса: «она нерушима, ибо она сама - разрушение. Она - разъединенность, она - непостоянство, она - многоликость, она - зло».

Три революционные идеи - это идеи свободы, равенства и братства. Но свобода тут разрушительна — законы перестают быть вечными, они делаются «банальными эманациями произвола». В действительности свободны в демократии только немногие богатые. Равенство тут таково, что низшие и худшие получают дорогу; в экономике это означает, что не производители, а потребители стоят на первом месте - ленивые, «паразиты бюрократии». Братство предстает как идеал космополитического режима, «филантропического ража». Провозглашается мир между нациями, но революционные устремления при этом направлены против собственных сограждан, их толкают к гражданской войне - несогласные «реакционеры» никак не относятся к «братьям», с ними ведут настоящую войну. Франция заразила всем этим другие нации, поэтому «французскими идеями» считают весь этот набор фраз. В действительности же это никакие не «идеи», но «анархия и варварство». «Священный Союз Плебса» всех стран ссылается на Францию, где уже имелся «триумф революционной сволочи» (а

потому Францию по всему миру недолюбливают друзья порядка). Моррас иронически пишет о «Свободе, Равенстве, Братстве», начертанных на стенах министерств, школ, мэрий и даже церквей. Украсить такими надписями камни не так уж сложно. Но если бы повсюду расклеили афиши с утверждениями, что каждый француз - миллионер, то разве они стали бы таковыми? Право на миллион есть у каждого, то же самое можно сказать и о свободе. (Как заметил Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» по тому же поводу: «Человек без миллиона есть не тот, кто делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно») «Свобода безумца называется безумием, свобода глупца - глупостью, свобода бандита - бандитизмом, свобода предателя - предательством и т.д.»¹.

В действительности же свобода редка. Она крайне незначительна у дикаря, не было никакого «естественного состояния» с полной свободой и последующего ее отчуждения. «Свободы нет в начале, она приходит под конец. Ее нет в корнях, но она появляется как цветы и плоды человеческой природы, лучше сказать - человеческой добродетели. Мы тем свободнее, чем мы лучше»². Тот, кто говорит «свобода», говорит тем самым «авторитет». Свобода есть власть, могущество (т.е. потенция); тот, кто ничего не может, тот и не свободен. Если за тобой следуют другие, если ты наделен авторитетом, то это реализация потенции. Свобода отца семейства - его авторитет в семье, свобода вероисповедания связана с авторитетом исповедуемой религии. То же самое можно сказать о свободах ассоциаций, коммун, провинций: они связаны с их реальной властью, с их силой, а не декларациями прав. Бессильное право остается чисто декларативным; права вообще связаны с обязанностями, с долгом, с привилегиями, с властью, с мощью. Отдалите человека от семьи, от ремесла, от нации, скажите ему, что он - король, что он - Бог, что он натворит в результате? Моррас пишет об иллюзорности прав и свобод в «либеральной догматике» Деклараций, выражающих лишь «подлинное безумие революционного индивидуализма, будь он политическим, социальным или моральным»³.

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 50.

² *Ibid.*-P. 50.

³ *Ibid.*-P. 51.

Без собственности человек обречен на смерть, она представляет собой «естественную защиту человека». Владеть - значит располагать собой, значит обладать силой сопротивления по отношению к другим, значит иметь возможность на них воздействовать. Собственность должна передаваться по наследству - без этого нет традиции. Традиция мыслится как критичная (поскольку без мысли прошлое мертво). Традиция - не инерция прошлого. Противопоставление разума и традиции бессмысленно - такого рода оппозиции суть «космогонии маленьких детей», они напоминают противопоставления масла и уксуса, сладкого и горького, жидкого и твердого. Цивилизация есть «капитал, причем капитал передаваемый», а это невозможно без разума. «Капитализация и традиция - вот два неотделимых от идеи цивилизации термина». Природа человека не только материальна, но и моральна, она формируется цивилизацией. Долг каждого перед предками огромен. Чем богаче цивилизация, тем более развит индивид, тем больше у него возможностей, но тем больше его долг.

Не существует прогресса «вообще», есть «прогрессы» в разных областях; нет автономного улучшения человека, его ценностей. Человек в истории практически не меняется, сумма счастья не увеличилась. Есть восходящие и нисходящие движения, причем рост экономический и технический может сопровождаться нравственным и эстетическим оскудением. Идея единого Прогресса - результат антропоморфизма, словно время автоматически несет с собой возвышение, словно человечество есть единый организм. Прогрессистская вера есть мистика, а не «наука», хотя она часто узурпирует последнее название. Прогрессистам, иронически замечает Моррас, следовало бы поменьше задирать нос перед людьми простой религиозной веры, поскольку сами они ничем не отличаются.

Политика - именно наука, она отвергает такого рода мистику, она изучает законы обществ. Эти законы - не законы становления, динамики, но законы статики. Нет закона эволюции человеческого рода или западной цивилизации, по которым можно предсказать будущее. Нет «Закона Истории», но есть законы, устанавливающие связи между причинами и следствиями. Невозможно предсказать будущее человеческого рода, но возможны точные прогнозы (подобно тому, как небольшая тучка на горизонте указывает на надвигающуюся бурю). Законы суть корреляции явле-

ний; вместе с появлением одного фактора неизбежно появляется и другой. «Если правит Число, то за ним последует власть Денег; если явилась демократия, то обязательно появится плутократия». Вместе с демократией неизбежно появляется бюрократическая централизация (столь же неизбежно, как и то, что вода кипит и испаряется при нагревании). Законы социальной эволюции сомнительны, законы статики плодотворны, поскольку они выявляют константы. Конечно, здесь нет чистоты естественнонаучного эксперимента, имеется лишь исторический опыт. Однако связь между фактами можно устанавливать, и они подлежат объяснению. Так, то, что демократия способствует централизации, объясняется тем, что демократия связана с голосованием на выборах, а голоса можно получать только за счет обещаний голосующим, за счет контроля над их мнениями, убеждения, пропаганды и т.п. Чтобы не погибнуть, демократия должна потихоньку прибирать к рукам все те свободы, которые ею же были громогласно провозглашены.

«Постулатом позитивной науки является то, что общества суть факты природы и необходимости», а потому стоит избавиться от всяких сказок о «договоре», «всеобщей воле», полученной в результате слияния волеизъявлений самостоятельных субъектов. Воле предшествует порядок вещей - климат, среда, наличие удобных почв и полезных ископаемых и т.д. Поэтому Монтескье с его позитивным описанием разных форм правления противопоставляется Руссо и «Декларации прав человека и гражданина». Общественные законы не зависят от произвола людей, но отражают необходимость. Политическая наука идет за фактами, она признает, что в истории все изменчиво: «Мы - не метафизики, мы знаем, что потребности могут измениться»². Но при всей изменчивости человека в истории самое важное остается тем же самым. Всегда нужно от чего-то отказываться, что-то сохранять - критический разум должен исследовать прошлое, отбирать лучшее, этим они отличаются от ума революционного, желающего, как это поется в «Интернационале», «сделать из прошлого чистую доску» (*Du passe faisons table rase*). Моррас называет это «программой амнезии».

Политическая наука выясняет, каковы условия процветания обществ, для их здоровья. Есть явления, ведущие к упадку, к бо-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 104.

² *Ibid.* - P. 109.

лезни - этим верифицируются принципы. Революция ведет к упадку, демократия ведет к упадку - достаточно посмотреть на Афины V в. до н.э. «Равенство нигде не способно царствовать, но навязчивое желание равенства, стремление к нему создают политический дух, который диаметрально противоположен жизненным интересам страны: демократический дух убивает военную дисциплину, тогда как народ нуждается в армии; распространяя зависть, демократический дух убивает гражданское согласие, сердечность, мир между частными лицами, в то время как народ нуждается в согласии, мире и сердечности»¹. В развитом обществе индивиду нужны права, причем сложная их система; но когда провозглашается равенство прав, то это просто ложь. Общество всегда предшествует человеку, человек всегда в той или иной ассоциации.

Общая анархия XIX в. привела к индивидуализму, к искажению самого понятия человеческого «Я»; исходно человеческое «Я» - это «Мы», либо у него вообще нет никакого смысла. Не индивиды, но семьи являются простейшими элементами общества - они делятся не одно поколение, они требуют условий для воспроизводства. Сфера нашего личного вообще ничтожна - наши предки дали язык, основные установки, затем были родители, учителя, книги, картины и т.д. Моррас против аналогий с организмом, клетками которого являются индивиды. Но речь идет и не о свободной ассоциации индивидов. «Мы не выбирали ни нашей крови, ни нашего отечества, ни нашего языка, ни нашей традиции. Все это навязало нам то общество, в котором мы родились»². Мы либо принимаем это наследие, либо против него бунтуем, но у нас нет выбора прошлого. Права идут от общества к ассоциации, от нее - к семье, и только потом речь может идти о правах индивида. Но род не должен гибнуть из-за прихотей индивида. «Права человека» - звучат они очень приятно, только изолированный индивид никогда не может реализовывать записанные за ним права. Индивидуализм совместим с этатизмом. Человек остается один на один с государством, которое желает быть единственным арбитром общественной и частной жизни; поэтому оно желает иметь дело с разбеденными индивидами. Индивидуализм - вот религия «республики рантье». Они не желают работать, предпочитают не иметь

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 155.

² *Ibid.* - P. 118.

детей; спекуляция - вот единственное занятие в плутократии. Зато, расставшись с провинциями, общинами, ассоциациями, индивид оказывается один на один с Государством. Для счастья и защиты каждого «нет ничего более важного, чем эти вторичные и промежуточные общества, которые дают гарантии семейному очагу, местная жизнь, профессия»¹.

XX век кладет конец либеральной анархии и иллюзорному индивидуализму, это - век профсоюзов, корпораций, акционерных обществ, «в XX веке они будут подобны тому, чем были соборы в XII веке». Сильное государство нуждается в сильном обществе, т.е. в свободных автономных ассоциациях. «Общий интерес» - не сумма индивидуальных; их как раз следует вычесть, чтобы остался интерес общий. Политика - это умение сочетать мощные индивидуальные и групповые интересы с общим. Его всегда отстаивают немногие, ибо немногие ради него готовы идти на риск, жертвовать своими интересами или даже приносить себя в жертву.

Государство ведет свое происхождение от семьи и в чем-то по-прежнему с нею сходно. Из поколения в поколение рождаются французами и принадлежат этой «семье». Разумеется, есть «приемные дети», но они имеются только потому, что есть «семья». Общество предшествует государству, поскольку семьи составляют общины, коммуны, конфессиональные и профессиональные ассоциации. Есть бесконечное множество групп, объединяющих людей по интересам - от интересов жизненно важных до прихотей. Человек не мог бы выжить без таких объединений - гражданское общество у Морраса является и первопричиной и конечной целью государства, ибо государство есть просто орган, «функционер Общества». Первоначально государство регулировало вовсе не дела индивидов, но отношения родов, корпораций. Исключения составляли либо преступники, коих следовало карать, либо герои, коих нужно было превозносить. Государство невелико - небольшая группа чиновников, армия. «Что же до остального, то нормальное государство под своим скипетром и под своим мечом дает возможность жить и действовать множеству небольших спонтанно возникающих организаций, автономных коллективов, которые существовали до него и у которых есть шанс его пережить, ибо они составля-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 120.

ют истинную бессмертную субстанцию нации»¹. Цветущее многообразие таких организаций, а вместе с тем и человеческих типов к ним принадлежащих - со своими особенностями, со своими добродетелями - вот идеал Морраса. *Raison d'Etat* высится над ними, как то небольшое, что объединяет всех. Но там, где присутствует партийная система, этот общий для всех интерес исчезает, поскольку каждый ищет выгоды для себя (и лишь прикрывается всеобщим интересом). Партии разрывают государство, они выражают даже не частные интересы групп, но чаще всего личные интересы политиканов.

Стремление к добродетели и к личному спасению отлично от стремления к процветанию и благополучию общества. Мораль и политика в этом смысле различны. «Нет прямой связи между моральным совершенством и совершенством политических форм, поскольку последнее соотносится с объектами, которые чужды морали человека, вроде географических или экономических условий территории, на которой он проживает»². Политические и военные успехи зависят от моральных качеств, однако, «когда побеждает честный человек, то победоносна не его честность, равно как при победе подлеца одерживает верх не его подлость». Талейран был предельно циничен, но как дипломат он не знал себе равных - и тогда, когда он, по существу, толкнул Наполеона к убийству герцога Энгиенского, и тогда, когда он помог возвращению Бурбонов. Иначе говоря, делу Реставрации способствовал подлец по самым низменным мотивам, но от этого оно не утратило характер общественного блага.

По существу, за пределами моральных оценок для Морраса находится и война; такого рода оценки применимы к усилиям по установлению мира. Война рождается из естественной игры жизненных сил, она принадлежит «природе вещей», тогда как мир требует ума и энергии. Мир - это шедевр внешней и внутренней политики. «Пацифисты игнорируют ту цену, которую приходится платить за мир; они полагают мир чем-то данным, естественным, простым, самопроизвольно рождающимся на нашей планете. Но его следует создать. Это - продукт воли и человеческого искусства-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 122.

² *Ibid.*-P. 127.

ва»¹. В «капусте» мира не найти, его нужно упорно добиваться, он требует жертв, ума, опыта наций. Его труднее сохранить, чем завоевать. Мир для Морраса вообще предпочтительнее войны, поскольку настоящий, стабильный порядок дает именно мир. Главный противник для него - не внешний неприятель, а тот, кто развязывает гражданскую войну ради передела материальных благ, отравляет сознание рабочих сказками о рае земном после такого передела, хотя рабочим-то ничего от него не достанется. Моррас пишет о роли иностранных держав, способствующих революции у своих противников. Когда эта революция развязана, то чужеземец приходит как желанный миротворец, кладущий конец гражданской войне и всяким безобразиям. Как еще проще завоевать чужую страну?

Моррас подвергает суровой критике конкурирующие политические доктрины - либерализм, социализм, анархизм. Либерализм с его политическим видением мира уравнивает всех, а потому уничтожает ранги, статуты, привилегии цехов, провинций, коммун. Сторонниками его естественным образом делаются посредственности, завистники, глупцы - а затем, в эпоху революции, и преступники. Анархисты (в отличие от социалистов и либералов) честны в своем стремлении разрушать: они хотят все перестроить, но в случае успеха получилось бы у них нечто примитивное, деградировавшее («разнести пакетбот, чтобы построить какую-то лодчонку»). На деле любая революция ведет не к упразднению власти, но к усилению централизованного административного насилия. Результатом либеральных революций стала бюрократическая централизация, тогда как анархизм может привести только к чудовищной деспотии. Социализм и коммунизм представляют собой попытки решить те проблемы, которые были поставлены либерализмом и демократией. Но государственный социализм переносит в сферу труда все то худое, что возникло в области политической в условиях демократии. Движение от политической демократии к «экономической демократии», т.е. к уравниловке есть неизбежное движение. «Разведенный водой коммунизм называется социализмом. Разбавленный социализм называется радикализмом, демократизмом, республиканизмом»². Политическое равенство, как это

¹ *Maurras Ch. Mes idées politiques.* - P. 142-143.

² *Ibid.*-P. 216.

показал еще Токвиль в «Демократии в Америке», ведет к равенству социальному, к претензиям плебса на равенство потребления независимо от труда. А из этого с неизбежностью следует то, что заявило о себе уже в афинской демократии: остракизм, изгнание Лучших, возлагание на богатых все новых и новых обязанностей, коррупция, утрата стимулов к труду и паразитизм черни, а затем обеднение и неизбежное крушение при столкновении с более сильным противником.

Истинная сила в эпоху демократии - сила денег. «Деньги ее избирают, ее создают, ее порождают». Без денег, как высшей силы, высшего арбитра, демократия просто свалилась бы в хаос. "Нет денег, значит нет газет. Нет денег, нет и выборов. Нет денег, нет общественного мнения. Деньги - вот родитель, вот отец вся-ой демократической власти, всех избранных властителей, всякой власти, находящейся в зависимости от мнения»¹. При всех криках ' свободах правят деньги, а сама власть продажна. У капитала имеется масса полезных функций, но его место - место слуги, а не господина. Там, где царство количества захватывает все, там, где правят деньги, неизбежен путь к неразумию и к преступлениям. Деньги любят все - и люди, и города, и режимы. Но есть режимы носительно от них независимые, и есть те, кто непосредственно находится на содержании. Тот или иной государь может быть коррумпированным, но его сменит другой. В демократии же, даже если избран человек лично добродетельный, ему не избавиться от зависимости от плутократии. Она является истинным сувереном в демократии. А так как мандат этого добродетельного человека зависит от воли денег, то он начинает их защищать - против всей нации.

Поэтому для преодоления власти денег нет иного средства кроме наследственной власти. Наследник может оказаться дурным, но демократия всегда дурна. «Беда не в самих выборах, но в избирательной системе, распространившейся буквально на все» . Плох и имущественный ценз, результатом является такая же некомпетентность, как и при общем избирательном праве, да еще сама плутократия избирает себе подобных. Проблема заключается не в числе голосующих, а в том, кого и по каким критериям изби-

¹ *Maurras Ch. Mes idées politiques.* - P. 161.

² *Ibid.* - P. 164.

рают. Ведь избирают потому, что нравится форма носа, потому, что красивы обещания, потому, что хочется поменьше работать, больше получать - избирают того, кто щедр на обещания. Все делается паразитами, желающими жить за счет раздачи государственных подачек («хлеба и зрелищ»). Защитники демократии - «чистые мистики», все у них держится на вере. Нет никакого «народного суверенитета», поскольку плебс никогда им не обладал и не обладает. Ссылки на «общественное мнение» лживы, поскольку это мнение изменчиво, им можно манипулировать. Моррас не против всеобщего избирательного права, он даже называет его «консервативным». Но избирать нужно не парламент, назначающий правительство, а местные органы самоуправления, ректоров университетов, провинциальные парламенты.

Всеобщие выборы вообще являются растратой времени и средств; анархия прикрыта словами из демократического лексикона о «свободных выборах», хотя за ними стоит воля олигархии (а иначе демократия бы вообще быстро развалилась), ибо реальна при демократии именно власть денежного мешка. «Равенство» есть лживый лозунг при действительном господстве плутократии. Но вместе с тем республика есть централизованная власть чиновников, вмешательство их во все провинциальные и корпоративные дела. Конечная цель демократии - социализм, «шедевр централизации и чиновничества» с раздутым государством, с прорвой ненужных людей, которым подыскивают теплые места в аппарате.

Экономика никогда не вызывала большого интереса Морраса и его суждения по поводу корпоративного государства были обрывочными. Он писал о ложности либеральной доктрины, согласно которой рынок есть самоорганизующаяся система. Эта доктрина неизбежно ведет к экономическим кризисам, финансовым скандалам, к хаосу. Функции государства не сводятся к жандармским, оно должно в известной степени регулировать экономику, защищать население, проводить протекционистскую политику. Классовое деление существует, но оно не самое важное; скажем, деление на профессии ничуть не менее значимо, чем принадлежность лавочника к «буржуазии», а инженера к «наемному труду». Злом является не существование пролетариата как такового, равно как злом не является и наличие капитализма. Пролетариев необходимо включить в общество, нужны профессиональные организации, корпорации; нужно, чтобы он был возвращен в лоно религии.

Рабочий вопрос решается на пути корпоративного государства, т.е. возврата к гильдиям и цехам. Проблема в том, что рабочие выброшены из общества, это люди «без сословия». Синдикализм следует поддерживать, но в рамках корпоративного государства.

Интерес к социализму начали проявлять еще многие предшественники Морраса из консервативного лагеря. Даже прямо обвинявший социалистов в «сатанизме» Доносо Кортес отмечал, что в сравнении с убожеством либеральной доктрины социализм содержит в себе «нечто гигантское и грандиозное», поскольку желает утвердить царство добра на Земле, не ограничиваясь посредственностью конституционалистов, избравших место между «тьмой и светом» и «думающих править без народа и без Бога»¹. Французские легитимисты еще в 1830-е гг. иной раз вступали в избирательные альянсы с тогдашними социалистами, а со времен Ле Пле и Латур дю Пина консерваторы пытались решать «рабочий вопрос». В начале XX в. Морраса интересовал французский синдикализм, в рамках «Кружка Прудона» происходили дискуссии с Сорелем. В те годы некоторые забастовки рабочих поддерживались «Аксьон франсез». Но из дискуссий такого рода практически ничего не вышло: рабочих ничуть не интересовала монархическая идея, а корпоративное государство со средневековыми цехами и гильдиями явно не подходило для тех, кто желал уменьшения 12-часового рабочего дня. После Первой мировой войны всякие разговоры о социализме в «Аксьон франсез» прекратились, а те, кто по-прежнему желал воспользоваться рабочим движением для «правого дела», порвали с Моррасом и стали образовывать фашистские партии. Первым раскольником был Жорж Валуа, который прямо ссылаясь на успешный опыт Муссолини и даже сформулировал программу посредством чуть ли не химической формулы: «Национализм + социализм = фашизм». Но фашистами были люди уже совсем иного склада ума, они принадлежали к другому поколению.

Для Морраса социализм плох, пока он выступает как интернационализм и пацифизм на манер Жореса, он хорош, когда стремится позитивно решать «рабочий вопрос» на пути синдикализма. То, что профсоюзы являются консервативной силой, далекой от

¹ Cortes J. Donoso. Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo considerados en sus principios fundamentales. - Madrid, 1949. - P. 125.

всяких революционных устремлений, хорошо понимали не только революционеры, вроде Ленина, который особенно негодовал по поводу «рабочей аристократии». Сошлемся хотя бы на мнение несомненного либерала Р. Арона, одного из наиболее тонких политических мыслителей XX в., который писал: «Фундаментальной консервативной силой развитых индустриальных обществ являются профсоюзы рабочих»¹. Революции сегодня невозможны (или, по крайней мере, маловероятны) именно из-за сугубого консерватизма профсоюзов, желающих постепенного улучшения благосостояния, знающих, что всякие революционные потрясения ведут к разрушению средств производства, к разладке системы, которая обеспечивает высокий уровень жизни квалифицированных рабочих. Франция представляет собой исключение, поскольку в ней лишь 20 процентов организованных рабочих, в основном в прокоммунистических профсоюзах, тогда как в других странах Европы (ФРГ, Скандинавия) профсоюзы - главная антиреволюционная сила. Этим пытались воспользоваться французские фашисты, причем активнее всего не выходцы из «Аксьон Франсез», а покинувший ЦК французской компартии Дорио. Моррас создавал свою доктрину в ту эпоху, когда социализм обладал «человеческим лицом»; кроме того, марксизм во Франции долгое время не получал широкого распространения, с ним соперничали куда более «либертарные» доктрины. Фашизм был реакцией на совсем другую эпоху, когда реальной угрозой стала «диктатура пролетариата». Моррас считал коммунистов какими-то анархистами с «немецкими идеями», тогда как более проницательные раскольники увидели, что в эпоху масс ответом на коммунизм может быть только фашизм.

Нигде идеи Морраса не искажались сильнее исследователями - и прежде всего Нольте - как при разборе его национализма. Разумеется, сегодня ни один консерватор или даже «новый правый» не станет говорить языком начала XX в. «Политической корректности» тогда не существовало, и такой «прогрессист», как Клемансо, вполне мог откровенно порадоваться голоду в Германии после Первой мировой войны и добавить, что в Германии вообще имеется «лишних 20 миллионов», и неплохо было бы этим миллионам уйти в небытие. Моррас говорил о «богине Франции», свое учение он называл «философией французского национализ-

¹ Aron R. La revolution introuvable. - P.: Fayard, 1968. - P. 38.

ма». Но националистами во Франции были и республиканцы, более того, сам национализм не был чем-то старорежимным - культ нации и шовинизм представляют собой наследие революции. Конечно, в рамках монархической идеологии издавна шло движение от личной верности династии к представлению о национальном интересе. Уже так называемые «политики» времен религиозных войн XVI в. говорили о том, что конфликт католиков и протестантов, переплетающийся с династическими притязаниями, ослабляет Францию в борьбе с Испанией; Ришелье служил королю, но он заложил основы той политики, которая определяется словосочетанием Raison d'Etat. Поэтому повторяющееся из книги в книгу суждение: Моррас и Баррес позаимствовали национализм у левых и сделали его политической программой правых просто неверно. Одним из «семейств» французских правых (выражение выдающегося французского историка Р. Ремона) были бонапартисты, а империя хоть Бонапарта, хоть Наполеона III получала легитимацию почти исключительно через отсылки к «нации» и «национальной славе». Морраса вообще считают в этом отношении «новатором» только те, кто видит исключительно французский контекст, но игнорирует то, что во второй половине XIX в. происходила «национализация» европейских монархий - Александр III и Вильгельм II были современниками Морраса, и он сделал в условиях республики то, что естественным образом происходило в странах с монархическими режимами: соединение роялизма с национальной идеей.

Националистами были и Столыпин, и Вебер, и Струве; в сравнении с организациями немецких «национал-либералов», вроде Alldeutsches Verband или Kolonialgesellschaft, руководимое Моррасом «Action francaise» вообще не имело программы внешней экспансии (если не считать общий всем французским партиям того времени реваншизм в связи с Эльзасом и Лотарингией). В других странах соединение национализма с монархизмом вело к пангерманизму или панславизму, francisme Морраса не притязал на какую бы то ни было всеобщность. Арндт назвал немца Allermensch, Достоевский применил это же словосочетание «всечеловек» к русскому, у Морраса француз - избранный представитель Цивилизации. Но в ту эпоху и демократ Мадзини писал, что итальянский народ является «душой мира» и «словом Бога посреди наций». Моррас был не большим и не меньшим националистом, чем Фихте или Трейчке, только национализм у него не имеет никаких амби-

циозных внешнеполитических планов, не ведает о какой бы то ни было универсальной «идее», которой нужно «научить» человечество. С точки зрения Морраса, проекты превратить два миллиарда землян в рабов у семидесяти миллионов представителей «расы господ» были чудовищной наглостью варваров.

Французский национализм он отличал прежде всего от немецкого, который желает навязать другим собственную ограниченность¹. «Классический французский дух» предполагает обогащение за счет включения чужого, адаптации, обогащения, он сам

¹ Для понимания идей Морраса иногда нужно обращаться к сочинениям его последователей. Моррас был человеком XIX столетия, его монархизм вообще восходил к наследию легитимистов времен Реставрации. Как эти идеи воспринимались теми, кто родился через полвека? В качестве примера я возьму книгу молодого Тьерри Молнье (в 1960-е гг. он станет членом Французской Академии) «Кризис в человеке». Книга написана в 1932 г., во время мирового экономического кризиса, истоки которого Молнье видит в утрате традиционных духовных ценностей. В ней Молнье специально подчеркивает отличия французского национализма от немецкого. Французский национализм исходно не агрессивен, он пробуждается лишь тогда, когда есть опасность национальному бытию. Француз слит со своей традицией, со своим стилем жизни, который он наивно считает наилучшим из возможных. Он никому ничего не навязывает, не выставляет напоказ. Основу французского национализма составляют «почва, чувствительность, цивилизация», тогда как государство для француза никак не подменяет нацию - это лишь полезный аппарат. У немцев отсутствует это органическое слияние, а потому национализм у них этатистский, милитаристский, требующий постоянного подтверждения на массовых сборищах, участия в митингах и маршах. В Германии процветает коллективистская идеология, тогда как французы - прирожденные индивидуалисты, которые объединяются лишь при наличии угрозы. Поэтому национализм «Аксьон франсез» ограничивается защитой, тогда как в Германии коллективизм способен привести к опасному соединению социализма с империализмом и тогда можно опасаться за судьбы Европы - эти слова из предисловия, написанные в 1932 г., можно считать пророческими. Следует отметить, что Молнье, вслед за Бэнвилем, считал отчасти ответственным за немецкий национализм Версальский договор, а именно, 231-ю его статью, которая возлагала ответственность за Первую мировую войну исключительно на немцев. «Демократическое лицемерие сочеталось браком с лицемерием пуританским» (с. 102), а потому проигравшая сторона должна не только платить репарации, но еще и «замаливать грехи», которые были общими.

есть продолжение великой Цивилизации, которую создали не сами французы, но получили от греков. Родиться французом - великое преимущество, «священная привилегия», поскольку это значит родиться наследником огромного капитала средиземноморской цивилизации. Тем не менее, речь идет о национализме, «патриотическом эгоизме»: в мире есть тибетцы и китайцы, которыми мы восхищаемся, но они далеки от нас, нам до них, по большому счету, нет никакого дела, нет даже никакой пользы; а вот от членов собственной нации - прямая выгода. «Французы нам друзья, поскольку они - французы, и они не являются таковыми, поскольку мы их избрали себе в друзья»¹. Нация не является каким-то божеством, «но нация занимает высшую точку в иерархии политических идей. Из всех реальностей она просто является самой сильной». Перед этой реальностью должны отступать все споры, затухать все конфликты. Нации предшествуют классам. Национальность не определяется расой, но она не является и результатом свободного выбора. «Между дикой Природой в собственном смысле слова и природой искусственной (скажем, юридической или какой-то еще), проистекающей более или менее из воли, из произвола человека, находится промежуточная природа, которую можно было бы назвать второй природой: Общество. Социальная жизнь составляет существенную часть человеческой природы, человек просто не мог бы без нее существовать. Национальность представляет собой модус этого естественного состояния человека. Можно назвать ее социальным фактом»². Человек всегда и неизбежно принадлежит племени или нации, которые обладают своими обычаями, нравами, законами, манерами мыслить и чувствовать. Все это формирует нас вплоть до физического облика. Подобно тому, как эллин защищал стены своего полиса, современный француз обязан защищать то отечество, которое дало ему буквально все - от прекрасной кухни до великих творений литературы и науки.

Республика безродна, она игнорирует национальные чувства, она проповедует космополитизм «прав человека». Моррас не отрицает того, что существует республиканский патриотизм и даже шовинизм, но он считает его непоследовательным. «По суще-

¹ Aron R. La revolution introuvable. - P.: Fayard, 1968. - P. 262. ² Ibid. - P. 261.

ству, роялизм отвечает всем различным требованиям национализма: вот почему он получил имя *интегрального национализма*¹. Монархи - это отцы нации, монархия - своего рода семья, где есть отец, тогда как республика лишена родительского авторитета. Легитимная королевская власть совсем не деспотична. Идеал Морраса - не конституционная монархия, но «традиционная, наследственная, антипарламентская, децентрализованная монархия». Она не менее, а более представительна, чем конституционная, - через корпорации, провинциальные собрания. В республике нет никаких добродетелей, которые приписал ей Монтескье: «Эта республиканская добродетель существовала лишь в мечтаниях некоторого числа идеологических доктринеров»². В истории бывали удачные опыты аристократических республик (Рим, Карфаген, Венеция), но они редки, поскольку требуют особых условий, да и неустойчивы, могут быстро перейти к другому, куда худшему, режиму, как это произошло в Афинах в V в. до н.э. Аристократия сама по себе дурна, она предполагает борьбу кланов, классовую ненависть. Не годится и рожденная революцией империя: она не национальна, она слишком связана с популистской демократией. «Франция не создана для того, чтобы жить в виде демократии. Ни Франция, ни какая-либо другая страна... Демократия есть политическая болезнь. От нее либо избавляются, либо от нее умирают - жить в демократии нельзя». В действительности не существует ни одной демократии, ибо Англия совсем не демократия, но аристократия, а в США и во Франции правит плутократия.

Недостатком республиканского режима для Морраса является отсутствие суверена, поскольку прирожденное и неотчуждаемое право верховной власти может быть только у монарха. Республиканцы были ничуть не меньшими националистами, они перенесли идею суверенитета с короля на нацию, отождествили государство с нацией. Наследник Бодена, Моррас ведет непрестанный спор с Руссо, но в понимании национального суверенитета они являются единомышленниками. Нация является Левиафаном, «Смертным Богом» Гоббса, она сталкивается с другими нациями, ведет «борьбу за существование». Моррас крайне негативно относился к лю-

¹ Aron R. La revolution introuvable. - P.: Fayard, 1968. - P. 279.

² Ibid. - P. 294.

³ Ibid. - P. 266.

бым союзническим обязательствам, поскольку они умаляют «богиню Францию», лишают нацию абсолютного суверенитета. Космополитичный финансовый капитал вызывает негодование прежде всего потому, что он может «служить кому угодно».

Вся политическая деятельность Морраса определяется таким пониманием суверенитета: «друзей» у нее в мире нет, а потому нужно вооружаться и готовиться к войне - ее можно избежать лишь в том случае, если потенциальный агрессор увидит, что ему способна противостоять сила. Движение «Аксьон франсез» сыграло немалую роль в подготовке Франции к Первой мировой войне и во время войны. От противостояния республике оно переходит к ее поддержке уже в последние предвоенные годы, когда на место радикалов к власти вновь приходят консервативные республиканцы во главе с Пуанкаре и Барту и начинают укреплять армию. Во время войны почти все члены «Аксьон франсез» добровольцами идут на фронт, а Моррас готов примириться даже с таким врагом, как Клемансо, который немало сделал для победы (в том числе подавил бунты в армии и посадил как «шпионов» иных из своих прежних политических соратников). После войны Моррас пользуется огромным авторитетом, он поддерживает правительство Пуанкаре, который время от времени приглашает Морраса для консультаций. Собственно говоря, «Аксьон франсез» в это время уже не является оппозиционной партией, ее депутаты в парламенте отличаются от консерваторов лишь склонностью устраивать скандалы и поисками «врагов» (этим прославился Леон Доде). Но с момента конфликта с папским престолом движение утрачивает свое влияние, становится все более похожим на секту, а конфликт с республикой становится непримиримым в эпоху «Народного фронта».

Крушение Морраса как политика в годы оккупации неразрывно связано с его триумфом в годы Первой мировой войны и сразу после нее. Моррас не изменился, он был тем же «интегральным националистом», ставящим превыше всего абсолютный суверенитет Франции. Его пропагандистская деятельность в начале века поспособствовала победе Франции в войне 1914-1918 гг., хотя и в ней Франция никак не смогла бы победить без более могущественных союзников. Но Вторая мировая война уже мало чем напоминала войны абсолютных монархий, мир поделился на «блоки». Моррас мог сколько угодно доказывать на суде, что считал

необходимым восстановление французской мощи, ее собственной армии (что и обещал Петэн), тогда как схватка Германии, англосаксов и СССР не имеет никакого отношения к национальному интересу французов. Эта позиция помогала только нацистской Германии, что хорошо понимали Лаваль и прочие коллаборационисты. Как говорил Лаваль, возможны лишь две позиции, «моя и Де Голля, и не будь я Лавалем, то стал бы Де Голлем». Начавшаяся после Вестфальского договора эпоха «концерта» европейских держав кончилась, выбор нужно было делать между либеральной демократией, фашизмом и коммунизмом, а все они требовали отказа от прежней национальной исключительности. Моррас равно ненавидел все эти идеологии - национал-социализм для него был ничем не лучше коммунизма или демократии, поскольку для «интегрального националиста» все они представляют собой лишь демагогическое прикрытие английского, немецкого, советского национального интереса. Сам язык новой эпохи был ему непонятен.

Триумф Морраса в каком-то смысле подготовил его крушение. Если бы Франция проиграла Первую мировую войну, она могла бы вернуться к монархии (хотя нельзя было бы исключить и победу более радикальных сил). В период между двумя мировыми войнами почти вся Европа находилась во власти тоталитарных и авторитарных режимов, тогда как в победившей Франции сохранилась демократическая республика. Продолжение борьбы с нею толкнуло Морраса к тому, что в Петэне он увидел «спасителя нации». Если на конец XIX в. в аграрно-индустриальной стране до половины населения могло поддержать восстановление монархии и установление авторитарного «закона и порядка», то уже в 1930-е гг. обнаружилось, что подавляющее большинство французов не желают для себя и своих детей подобного будущего. Влияние Морраса остается на крайне правом фланге, который способен, как показывают последние выборы, мобилизовать голоса пятой части населения, но тут все его наследие сводится к неприязни к «метекам», к лозунгу: «Франция для французов». Национальную идею с республиканской удалось органически соединить Де Голлю, Жанна д'Арк и республиканская «Марианна» более не противостоят друг другу в сознании французов.

Доктрина Морраса не стала во Франции руководством к действию для политиков: даже вишистский режим мало чем был ей обязан. Реальным было влияние за Пиренеями: в Португалии

Салазар был поклонником и единомышленником Морраса, он осуществил многое из того, что предлагалось идеологом «Аксьон франсез», хотя не стал восстанавливать монархию. Это сделал Франко в Испании, который также почитал Морраса, но именно последний из семейства Бурбонов помог впоследствии избавиться от наследия авторитарной диктатуры. Доктрина Морраса представляет собой консервативную утопию, сопоставимую с такого же рода утопическими проектами (вроде «народной монархии» Солоневича). Она имела какой-то смысл в то время, когда республиканскую Францию окружали монархии, но вместе с их падением в итоге развязанной ими самими мировой войны она стала достоянием истории.